



Э.М. КАЗАНОВИЧ

# СЕРДЦЕ ДРУГА

Казакевич Эммануил

Сердце друга

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моряк в пехоте

1

В самый разгар военных действий, когда полк, обескровленный в наступательных боях, все еще пытался прорвать немецкую оборону на подступах к Орше, поступил приказ о смене. Этот приказ означал, что люди, окопавшиеся в глинистой хляби огромных, тянувшихся на десятки километров оврагов, простуженные, охрипшие, покрытые фурункулами, нажитыми этой осенью, покинут свои позиции и отправятся отдыхать в спокойные сухие места, а здесь их заменят солдаты других, свежих частей.

Командир полка майор Головин собрал у себя узкое совещание в составе своих заместителей, начальника штаба и командиров трех батальонов и, еле сдерживая блаженную улыбку облегчения, сообщил им о приказе.

Во время совещания приехали два представителя той дивизии, которая сменяла полк, - старик полковник и молодой майор. Они вошли в сырой блиндаж, освещенный самодельной лампой, и, предъявив документы, уселись на деревянный топчан возле железной печурки, чтобы согреться и обсохнуть.

В наступившей на минуту тишине, нарушаемой только однообразными и свирепыми взвизгиваниями ветра за подрагивающей дверью блиндажа, все внимательно оглядели друг друга.

Вид приезжих составлял разительный контраст с видом собравшихся на совещание полковых офицеров. Приезжие были чисто выбриты, от них даже пахло одеколоном. Лица их, розовые и гладкие, свидетельствовали о сытой и спокойной жизни в течение длительного времени. Сапоги, хотя уже слегка забрызганные грязью и глиной, сохраняли свой светлый и жирный блеск, живо напоминая об армейском порядке и благополучии.

Головину стало не по себе от собственного растерзанного вида и от неподобающей внешности подчиненных. "Да, мы немножко того... попустились, - думал он, глядя исподлобья на своих обросших бородами комбатов, - робинзоны, черт возьми нас совсем!" Комбаты, в отличие от него, нимало не совестились, напротив - они глядели на приезжих даже с некоторым вызовом: и мы, дескать, такими были; посмотрим, что будет с вами здесь через недельку-другую.

Эта мысль, вероятно, промелькнула и в голове приезжего молодого майора. Он смотрел на местных офицеров с сочувствием и не без опасения за будущее своей части на этом трудном участке фронта. Зато седой полковник как видно, старый служака, - сурово оглядев присутствующих, проворчал:

- Бриться надо. У вас совсем партизанский вид.

Командир полка развел руками.

- Правильно, товарищ полковник. Но, откровенно скажу, - условия невозможные. Кругом - пустыня. Противник все пожег при отступлении. Леса нет, дров нет, топить бани нечем. Дождь хлещет месяц подряд. Блиндажи обваливаются, а обшивать их нечем. Кругом - глина, вода. Оружие и то чистить негде. Бывало, пулеметы отказывали... Да, было. Всякое было. - Он с наслаждением повторял это слово "было", означающее, что все беды кончились и теперь предстоит нечто совсем другое, несравненно лучшее.

Полковник недовольно поморщился и коротко сказал:

- Приступим.

Его ознакомили с положением дел, вручили оперативную и разведывательную карты и предъявили заранее заготовленный акт о сдаче и приемке участка. Но полковник, к некоторой досаде Головина, оказался человеком дотошным и, видимо, не принадлежал к породе канцеляристов.

- Я лично осмотрю передний край и уточню положение на месте, - сказал он и, с минуту помедлив, продолжал: - А пока должен вам сказать, что ваши данные о противнике, о его огневых средствах, системе обороны и боевом и численном составе его частей нас никак не устраивают. Командование согласилось с тем, что вы должны перед сдачей участка провести разведку боем. Приказ об этом вы получите в ближайшие часы.

- Разведку боем? - повторил Головин, и его лицо на мгновение перекопилось, как от боли.

Разведка боем означала, что полк, и так понесший большие потери, понесет еще новые, тем паче что противник укрепился на выгодной позиции и вся лишенная леса равнина на нашей стороне, кроме этих залитых водой, но спасительных оврагов, просматривалась им на десятки километров. И хотя полковник из другой дивизии имел все основания и непрерываемое право требовать разведки боем перед сменой, Головину казалось, что старик просто нехороший, сухой и злой человек, который лишь в отместку за то, что ему попался такой трудный участок, и из зависти к уходящей на отдых части решил потребовать разведки боем.

Головин сухо сказал:

- Есть. Будет сделано.

Он оглядел своих людей. Ему нужно было решить, кому из комбатов доверить непомерно тяжелую задачу. Конечно, можно было поручить это дело командиру второго батальона, капитану Лабзину, человеку, которого Головин недолюбливал за чрезмерную, почти трусливую осторожность - его Головину не так было жалко, как остальных двух. Но эта мысль только на самую долю мгновения пронеслась в голове командира полка, и он тут же отбросил ее прочь не без негодования на самого себя. Ибо что бы там ни думал этот сухарь-полковник, какими бы мотивами ни руководствовался, но дело есть дело: та часть, которая сдает участок, обязана провести разведку боем перед сменой, если противник недостаточно разведан, - таков воинский закон. И эту задачу следовало поручить самому решительному - и самому любимому - из комбатов, командиру первого батальона. Уныло взглянув на него, Головин сказал:

- Товарищ Акимов, готовься.

- Есть готовиться, - ответил Акимов, подымаясь во весь свой большой рост и усмехаясь в молодую, блестящую, кудрявую черную бороду, выросшую за месяц здешней жизни. Его голос, низкий и с каким-то веселым раскатом, оторвал полковника от карт и боевых документов. Полковник взглянул на него и увидел мощную голову на большом теле, которое и под уродливой ватной телогрейкой представлялось полным сдержанной силы. В Акимове

именно чувствовалось изобилие силы, и, если бы он держался подтянуто, напряженно, это казалось бы уже нескромным, почти демонстративным. Может быть, поэтому он чуть сутулился, двигался по-медвежьи мешковато, с этакой нарочитой ленцой, и единственная неприкрытая часть его тела - шея, хотя и немалого обхвата, была очень белой и нежной, как бы не желая свидетельствовать о мышцах богатыря, скрывавшихся под одеждой.

Лицо Акимова было все, за исключением высокого и чистого лба, в мелких рябинах, а глаза - узкие, серо-зеленые - глядели спокойно и независимо.

Вид комбата произвел на полковника впечатление, но, верный своей привычке судить о людях по их делам или, может быть, не желая подпасть под властное обаяние молодого человека, он опять углубился в свои бумаги, мимолетно решив: "Посмотрим, каков он в бою".

Головин между тем говорил Акимову:

- Тебя поддержит вся полковая артиллерия и дивизион артполка. Попрошу у комдива, чтобы он добавил еще артиллерии. Все тебе дам. Саперную роту пришлю в твое распоряжение. - Поколебавшись с минуту, Головин, чтобы окончательно подсластить пилюлю, добавил: - И взвод разведки тоже.

Акимов ответил:

- Ладно, есть.

Легкая улыбка все еще блуждала по его лицу.

"И чего он улыбается?" - раздраженно подумал старик полковник, взглянув на комбата еще раз.

Акимов улыбался потому, что, как только услышал о разведке боем, так сразу и решил, что Головин поручит задачу именно ему, Акимову. И когда так и вышло, лицо Акимова осветилось этой странной улыбкой, в которой было и удовлетворенное самолюбие, и горечь тревожных предчувствий, и насмешка над собственной догадливостью.

Акимов взял со стены свой автомат и спросил у полковника как у старшего по званию:

- Разрешите идти?

Полковник кивнул головой, сказав:

- Скоро буду у вас.

- Милости просим, - ответил Акимов. - У меня приبلудный баран жарится. Приходите, угощу. Только попрошу вас - не говорите моим офицерам, что вы нас завтра сменяете.

- Это почему же? - холодно спросил полковник.

Акимов помедлил с ответом, потом напрямик сказал:

- Чтобы людям было легче умирать. - Он подождал, не возразят ли ему, и, так как все молчали, закончил, ни к кому не обращаясь: - Я и сам был бы рад забыть про эту смену. Да уж тут ничего не поделаешь.

Акимов легко вскинул автомат на плечо и вышел.

Уже совсем стемнело, несмотря на сравнительно ранний час.

От блиндажа командира полка, вырытого, подобно пещере, в западном склоне оврага, вел

узкий лаз в самый овраг. Оскользаясь в глинистом месиве и держась рукой за мокрую стенку лаза, Акимов медленно шел вперед, привыкая к темноте. Наконец лаз кончился. Овраг лежал черный и бесконечный. Кругом было тихо, и только ветер неистовствовал по-прежнему, с разудалым свистом скользя по лужам и время от времени донося откуда-то приглушенные солдатские голоса.

- Товарищ капитан? - окликнул Акимова голос его ординарца, сержанта Майбороды.

- Я, - ответил Акимов. - Пошли.

Привыкнув к темноте, Акимов зашагал быстрее. Теперь он уже различал еле уловимую черту, отделяющую черную землю от черного неба, и угадывал где-то близко над головой кромку оврага.

- Замерз? - осведомился он у шагающего сзади ординарца.

- Так себе, - отвечал Майборода.

Помолчали, потом Майборода снова окликнул Акимова:

- Товарищ капитан...

- Чего? - отозвался Акимов.

Майборода осторожно спросил:

- Командир полка взбучку давал?

- А что? - усмехнулся Акимов. - Заметно в темноте?

Майборода тихо рассмеялся, но, не удовлетворенный уклончивым ответом, снова спросил:

- Важные новости, товарищ капитан? Или так просто?

Акимов сказал:

- Тут где-то тропинка вверх, как бы не пропустить. Вот она. Осторожно, Майборода. Держись носом за землю. Смотри автомат не урони в грязь. Вот. Хорошо. Вылезли.

Оказавшись на гребне, они сразу же увидели медленный и неяркий взлет немецкой ракеты. Они миновали место, где темной громадой стоял подбитый танк, и зашагали дальше по равнине.

- Воевать будем, - заговорил Акимов после долгого молчания. - Возьмем Оршу, пойдем на Варшаву. А потом - так и быть, разглашу военную тайну пойдем на Берлин. Вот какие новости, товарищ сержант. А других новостей нет и быть не может.

Это "разъяснение" заставило Майбороду прикусить язык.

В молчании дошли они до "своего", батальонного, оврага. Овраг этот проходил по окраине деревни, имевшей на карте название. Но от деревни остались только трубы печей, и то наполовину проваленные. Эти темные дымоходы дотла сожженных домов стояли рядами, как капища древних богов, и пахли тем сладковатым и горьким запахом пожара и разрушения, который нельзя никогда забыть.

Спустившись в овраг, Акимов и его ординарец зашагали быстрее: тут им была знакома каждая пядь земли. К тому же дождь становился все сильнее. Они миновали позиции батальонных минометов. Вдали замелькали тусклые полоски света из неплотно прикрытых

землянок. Потянуло дымком от расположенной неподалеку батальонной кухни.

Очувтившись у порога своей землянки, Акимов сказал:

- Ступай зови сюда всех офицеров.

2

Акимов называл свою землянку "кубриком" - одним из тех морских словечек, которые моряки любили употреблять всюду, куда бы их ни занесла военная или иная судьба. В пехоте Акимов оказался случайно, после ранения под Новороссийском, где дрался на суше в составе роты моряков. Пехотная жизнь ему, в общем, нравилась, тем более что Берлин - как он говорил иногда для самоуспокоения - город сухопутный, на корабле туда не попадешь. Однако, надо признаться, его самолюбие страдало от того, что многочисленные рапорты командованию о переводе во флот пока что не имели последствий: то ли они застревают в канцеляриях, то ли не нуждается флот в офицерах.

Акимов плавал на Черном море лейтенантом, командиром морского охотника - корабля четвертого ранга. Этот маленький кораблик затонул при выполнении боевого задания.

Точно неизвестно, что именно придает морякам обаяние в народе: то ли опасная и романтическая профессия, соленый ветер морей, потрясший воображение сухопутного человечества со времен Гомеровой Одиссеи; то ли образ жизни, приучающий их к спаянности и бесстрашию перед лицом самой неверной из стихий; то ли, наконец, их малочисленность на бескрайних сухопутных пространствах России, - как бы то ни было, но здесь, в пехоте, бывший моряк пользовался беззаветной любовью своих солдат в немалой степени из-за своей принадлежности к морю. Солдаты первого батальона нередко хвастались перед своими товарищами из других подразделений: "У нас комбат - морячок! Вот это парень! С ним не пропадешь!"

В короткий срок Акимов вырос в звании до капитана и был назначен сначала командиром роты, потом - батальона. В связи с этим он даже начал немного побаиваться обратного перевода во флот. Дело в том, что там он был лейтенантом и его знания и опыт не позволили бы ему занять на корабле пост, соответствующий званию капитан-лейтенанта. Флот - дело, связанное с разнообразной, сложной и непрерывно усложняющейся техникой, там одной храбростью и организаторскими способностями не обойдешься.

И все-таки Акимов часто тосковал о море, в частности - о Черном море с его пестрыми, людными, говорливыми портами, с его ярко-синим небом и ярко-зелеными берегами. Он тосковал о корабле - этом чудесно слаженном организме, маленьком мудром мирке, в котором нет ничего лишнего, ничего неразумного и население которого, спаянное общей жизнью и смертью, составляет как бы одно целое на плавно покачивающемся под ногами крохотном кусочке Советской родины.

В Акимове все было от моряка - даже глаза: зеленоватые, цвета моря. А рябинки по всему лицу тоже, казалось, не от оспы появились у него, а от едкости соленой морской волны.

На самом же деле Павел Акимов был родом из города Коврова, от которого до моря не всякая птица долетит. Во флот он попал благодаря своему большому росту - 190 сантиметров - и физической силе, да потому еще, что комсомол, шефствовавший над флотом, старался посылать туда лучших ребят. Акимов, работавший токарем-инструментальщиком, слывший деятельным общественником, и был тем идеальным комсомольцем для флота, о котором мечтают райкомы и горкомы комсомола на всем протяжении нашего обширнейшего из государств. Кончив всего только семилетку и поступив на завод учеником токаря, он вскоре, в силу своих выдающихся способностей и природного упорства, стал лучшим специалистом по части самых тонких токарных работ, которые всегда

выставлялись на выставках, приуроченных к городским и областным комсомольским конференциям. Это не мешало ему, в отличие от многих его сверстников, точно и в срок выполнять довольно многочисленные комсомольские поручения разного рода. Вместе с тем он учился заочно и сумел, несмотря на все свои производственные и общественные обязанности, стать так называемым отличником учебы, то есть человеком, получающим пятерки по всем предметам. Это было тем более трудно, что учиться заочно дело в первую очередь личной силы воли. Тебя фактически никто не подстегивает, кроме твоей собственной совести. Учиться без палки, хотя бы самой нежной, - трудное дело. Притом стоит отметить, что Акимов зарабатывал больше, чем любой инженер на его заводе, и, таким образом, учился он не ради увеличения своих заработков, а ради желания много знать и приносить людям большую пользу. Добавим, что он был самым внимательным из сыновей в многочисленной семье старого ткача. Понятно, что его любили в городе, где он родился и вырос.

Город Ковров расположен на высоком берегу реки Клязьмы и основан в XII веке звероловом Епифаном - так по крайней мере гласит предание. Четыре века спустя им владела отрасль князей Стародубских - князя Ковровы, или Ковры, как о том сообщает продолжение Несторовой летописи. Город этот, как две капли воды похожий на многие другие уездные города Центральной России - с церквями, каменными красными рядами, тихими прямыми улицами, обставленными двухэтажными домиками с кирпичным первым и деревянным вторым этажом, - незадолго до революции имел тридцать три питейных заведения, одну гимназию, одно городское училище и одну больницу, несколько бумагопрядильных фабрик, салотопенный и мукомольный заводы, а также мастерские Московско-Нижегородской железной дороги. Этот городок за советские годы разросся, стал большим и шумным, полным рослой и любознательной молодежи, в крови и облике которой жили поколения звероловов и землепашцев, возделавших эти места.

Из города ткачей и прядильщиц он превратился в город металлистов, и железнодорожные мастерские стали крупным заводом, вырабатывающим мощные экскаваторы, которые можно видеть на всех больших и малых строительствах от Комсомольска до Москвы. На этом заводе как раз и работал Акимов.

Семья Акимовых жила в маленьком домике Заречной Слободки, которая сообщалась с городом старым паромом. Мост через Клязьму был тут построен позднее. Река Клязьма с ее притоками Уводью и Нерехтой - небольшими студеными речками, полными омутов и осоки, - эта река с притоками и была тем тренировочным полем, где Акимов, сам того не зная, готовился к морской службе. Здесь он с детства выучился плавать и нырять, здесь он зимой на блесну ловил окуней, а летом на подпуска и в самодельные крылены - лещей, судаков, щук, а иногда и стерлядей. Здесь он без памяти полюбил жизнь на воде. Здесь, в прелестной, пересеченной живописными оврагами местности, среди зарослей мяты, среди густого орешника, ржаных полей, березовых рощ и редкого сосняка, среди луговин и полян, полных иван-да-марьи, желтых лютиков и медуницы, он приучился к тесному общению с природой, к пониманию ее, что составляет одну из драгоценнейших черт русского человека.

Акимов был, таким образом, происхождения "резко континентального", как он сам выражался, а зеленоватые глаза - если правда, что глаза могут перенимать окружающие краски, - приобрели, по-видимому, свой цвет от родных бледно-зеленых холмов и извилистых речек бывшей Владимирской губернии.

Всю свою силу, упорство и мастерство Акимов вложил бы в создание осязаемых человеческих благ - экскаваторов, железнодорожных вагонов, холодильников или автомобилей; он закончил бы институт, остался бы в Коврове или уехал бы в другое место, - например, в один из сибирских новых городов; можно не сомневаться и в том, что при его характере и образе мыслей он делал бы свое дело с размахом и сметкой, свойственной ему, и от этого проистекло бы много полезного для нашего народа. Но всего этого не произошло

по той причине, что нужны были люди в армии и флоте. Его взяли в военный флот при ворошиловском наборе в 1936 году. Тут он служил матросом, потом старшиной, а позже кончил военно-морское училище и стал командовать кораблем четвертого ранга, не принося никому видимой пользы. И лишь когда война началась, его опыт и умение оказались нужными людям, как воздух, которым мы дышим, и как кровь, которая питает наше сердце.

Даже сержант Майборода - ординарец, или, как он сам себя называл теперь по-морскому, "вестовой", капитана Акимова, человек сугубо практичный и прижимистый, до войны - заведующий буфетом, да еще на железной дороге, да еще в Конотопе, то есть человек прозаический до мозга костей, - даже и он относился к своему командиру, бывшему моряку, по-особому.

Вообще Майборода считал, что людей без недостатков не бывает, и склонен был серьезно преувеличивать эти недостатки. Если же такие люди существуют, думал он, то это только значит, что они умеют искусно скрывать свои дурные стороны, и стоит с ними пожить подольше, чтобы обнаружить плохое в них.

Однако в Акимове он не находил недостатков, хотя был его ординарцем уже три месяца - срок на войне немалый. То есть не то чтобы не находил. Недостатки были, но Майборода считал их до неправдоподобия незначительными. Акимов был вспыльчив. "Попробуй не вспыли, когда кругом такая беда", - рассуждал Майборода. Акимов был иногда несправедливо резок со своими подчиненными. По этому поводу Майборода говорил другим солдатам: "С нашим братом будешь мягкий, он на голову сядет".

Большая голова Майбороды с кривым носом и заплывшими глазками была между тем полна тяжелых мыслей, потому что семья его находилась под немцем, в Конотопе. Свою хлопотливую службу он нес образцово, но выглядел при этом очень унылым, очень скучным и чем-то недовольным. Он любил побрюзжать, собеседников прерывал издевательским и приводящим многих в ярость вопросом: "Ну и что?" - и вообще был в общечитии мало приятным человеком.

Только в присутствии Акимова, как в присутствии любимой девушки, он преображался. Все в Акимове - простоватый вид, под которым, как хорошо знал Майборода, крылись большой ум и недюжинное знание жизни, меткие слова, задумчивая усмешка и оглушительный хохот, - все это действовало на ординарца, как шпоры на добрую лошадь, все это вырывало его из плена тяжелых мыслей о себе, своих детях, своей жене, своем положении, своем будущем - всех тех мыслей, с которыми он прожил жизнь.

Он больше всего любил минуты, когда во время затишья на фронте Акимов, обычно лежа, рассказывал разные истории о боевых действиях моряков и вообще о флоте. Он часто спрашивал Акимова о флотской службе и о море, которого сам никогда не видел.

- Объяснить это трудно, - отвечал Акимов, улыбаясь той задумчивой усмешкой, которая обычно тут же, как в зеркале, хотя и чуть кривом, отражалась на лице Майбороды. - В общем, это просто много воды, но это не похоже на воду в понимании такой полевой мыши, как ты. Это целый мир. Как нельзя, собрав много червей, сделать змею, так нельзя, собрав вместе сто рек, устроить море. Море - это дело особое. У него свой запах, свое небо, свой свет и своя тьма. Поверхность его меняется в цвете. С суши оно кажется темным и чем ближе к горизонту, тем темнее. А по этой темной массе, наподобие барашков в стаде, двигаются белые пятна. А если глядеть на море с корабля далеко от берега, то оно кажется синим... - Досадуя на то, что, несмотря на обилие слов, он все-таки не может толком объяснить, в чем дело, Акимов неизменно заканчивал так: - Надо на это самому посмотреть. Коли живы останемся - поедешь со мной в Севастополь или Одессу.



Землянка комбата Акимова славилась во всех здешних оврагах батальонных и ротных - своими удобствами. Об удобствах заботился Майборода, и все офицеры сильно завидовали Акимову, имевшему такого ординарца.

Пол здесь был выложен целехонькими, хотя и почерневшими от пожара кирпичами, поверх которых была настлана солома. Железная печурка накалялась тут до красна; возле нее всегда сушилась целая гора дров. Правда, это были не настоящие дрова - березовые или сосновые, по которым тосковала душа Майбороды, - а всего лишь тонкие ивовые прутья. Но в других землянках зачастую и таких не было. Путья эти Майборода под пулями немцев рубил на берегу ручья, извивающегося вдоль переднего края, и тасил их оттуда вязанками, иногда ползая по-пластунски. Такими же прутьями были густо оплетены сырые стены.

Здесь стояли стол и две скамейки, на гвозде висел темно-синий снаружи и ослепительно белый внутри, мирный, как голубь, эмалированный таз, бог весть где приобретенный. Нары здесь были не земляные, а настоящие, дощатые.

В землянке был даже патефон. Правда, иглок не имелось вовсе, но Майборода приспособил швейную иголку, которая, право же, ничем не уступала настоящим. Пластинок было всего четыре, и те - не песни, а инструментальная музыка, что вначале всем очень не понравилось, показалось скучным и никчемным. Но потом к этим песням без слов привыкли, уловили их сильную и тонкую мелодию. Они проникали в сердца медленно, но настойчиво. В спокойные часы солдаты даже напевали, лежа в мокрой траншее, вперемежку с родными песнями "классику", что особенно радовало душу бывшего учителя истории, а ныне замполита, капитана Ремизова.

Землянка вскоре заполнилась. Пришли адъютант батальона лейтенант Орешкин, командиры стрелковых рот Погосян и Бельский, лейтенант-минометчик и лейтенант командир взвода - все оставшиеся в строю офицеры батальона. В углу у телефона дремал дежурный солдат-связист.

Пока Акимов медленно снимал с себя телогрейку, пришел и его заместитель по политической части, капитан Ремизов. Скинув замызганную плащ-накидку и протерев залепленные грязью очки, он спросил:

- Какие новости?

- Садитесь, товарищи, - сказал Акимов и развернул на столе карту. Не поднимая глаз, он добавил просто: - Воевать будем.

Он почувствовал - не увидел, как насторожились офицеры, и вслед за тем услышал бесконечно долгое шуршание медленно вынимаемых из планшетов карт.

В этот момент вернулся Майборода. Он бесшумно прошел вдоль стены к своему месту у печки. Пока Акимов излагал предварительный план боя, Майборода, чутко прислушиваясь к его словам и время от времени сокрушенно вздыхая, жарил баранину. По землянке все больше распространялся приятный, почти пьянящий запах жареного мяса. Майборода мысленно подсчитывал число возможных едоков, чтобы никого не обделить и в то же время не перебарщивать, дабы что-нибудь осталось и на завтра. "А завтра, - думал он, покачивая головой, - едоков будет поменьше..."

Бой был назначен на восемь часов утра - время, когда немецкие солдаты завтракали и у них в траншеях оставалось меньше народу. Артподготовке отводилось двадцать минут. Задача - захватить первую немецкую траншею и закрепиться в ней. Полковые саперы идут в боевых порядках батальона. Остальные детали будут уточнены после получения полкового приказа.

- Вопросы есть? - спросил Акимов, помолчав.

Никто не ответил.

- Задача ясна? - нахмурившись, опять спросил Акимов.

- Ясна, - негромко произнес один из офицеров.

- Огневая поддержка будет серьезная, - сказал Акимов. - Вся полковая и дивизионная артиллерия будет работать на нас. - Он опять помолчал, потом вдруг вспыхнул, покраснел и произнес громко и раздраженно: - Это большая честь для нашего батальона, и нечего сидеть, как сычи. Солдат мало? Устали? Знаю. И комдив это знает. Может быть, Верховный Главнокомандующий и тот это знает. Понятно?

Он впервые поднял на них глаза. Нет, они, разумеется, не поняли последнего намека. И Акимов все больше сердился, его лицо приобрело злое, жестокое выражение.

- стыдно смотреть на таких офицеров! - вскипел он окончательно. Попоны хотя бы сняли! - Он не знал, на чем выместить свой гнев и свою жалость к измученным товарищам, которых он обязан мучить еще больше, чтобы заставить их подтянуться и приободриться перед предстоящим боем. И оттого, что этот бой был последним здесь, в эту ужасную осень, и они не знали этого, а он считал себя не вправе им сказать, он еще больше раздражался и терзался. Когда же они в ответ на его несправедливые и обидные выкрики молча и покорно сняли плащ-накидки, он сразу присмирел и чуть не сказал им всей правды, так ему стало их жалко. Но он только махнул рукой, произнес в отчаянии: - Эх! - и крикнул Майборде:

- Вестовой! Баранины и водки!

4

Отказался ужинать один только Ремизов, который водки не пил, а ел очень мало - он свой обычный паек и тот наполовину отдавал самому прожорливому из офицеров, худому как щепка, но вечно голодному Погосяну. Даже война не могла приучить Ремизова к водке, хотя она же обнаружила в нем много новых для него черт, приводивших порой его самого в изумление, например физическую выносливость и неутомимость, о которой он, болезненный и вечно хворавший человек, даже не подозревал раньше.

Акимов искренне удивлялся этой неутомимости Ремизова и иногда с грустью думал про себя, что Ремизов будет держаться до конца войны, а в день и час, когда война кончится, он упадет - сразу, как сноп, так же глядя в небо своими большими, глубоко запавшими близорукими глазами, как он глядит сейчас куда-то в пространство, не то думая о чем-то, не то просто отдыхая.

Но вот Ремизов встал и сказал своим негромким голосом:

- Ну, ребята, ешьте, а я пойду. Надо созвать ротные партсобрания и подготовить людей к бою. Завтра двадцать четвертое сентября - в этот день ровно сто пятьдесят четыре года назад произошло сражение при Рымнике, в котором Александр Васильевич Суворов разгромил турецкие войска. Попробуем и мы проделать в этот день то же самое с немецкими войсками хотя бы на четверть. Надеюсь, ты, Павел Гордеевич, не обиделся на меня, что по военному таланту я считаю тебя в четыре раза слабее генералиссимуса Суворова?

Акимов угрюмо отшутился:

- Этого даже многовато, но учтем, что он не имел заместителя по политчасти, а я имею.

- Прекрасно, друзья мои, - сказал учитель Ремизов, и всем сразу вспомнилась школа.

Акимов крикнул вслед уходящему Ремизову:

- Проследи там, чтобы люди вовремя поужинали и пораньше легли сегодня спать.

Не успели доесть баранину, как из штаба полка прибыл офицер с письменным и подробным приказом на разведку боем, а следом за ним появились полковой инженер Фирсов, начальник артиллерии Гусаров и офицер разведки капитан Дрозд. Немного позднее пожаловал старик полковник из сменяющей дивизии.

Никто, кроме Акимова, не знал, кто такой этот полковник, и все восприняли его приход по-будничному, решив, что это какой-нибудь новый начальник из штаба дивизии или корпуса. Акимов же встрепенулся, в упор посмотрел полковнику в глаза, как бы проверяя, помнит ли тот их уговор. Полковник кивнул головой. Тогда Акимов, не желая показать ему свое раздражение и тревогу, заставил себя улыбнуться и спросил:

- Ну, как вам нравится наш кубрик, товарищ полковник?

- Вы спрашиваете о батальонном КП? - с непроницаемым видом осведомился полковник.

- Так точно.

- Ничего.

- Это все мой ординарец, - сказал Акимов, словно не заметив крившегося в словах полковника упрека по поводу неуставного выражения. Великий мастер по части благоустройства.

Разведчик, капитан Дрозд, сообщил:

- Сейчас придут разведчики с переводчицей. Командир полка приказал, чтобы она была здесь у вас, Акимов. На случай, если притащим пленных, она сразу их допросит.

Акимов недовольно поморщился - ему вовсе не улыбалось присутствие девушки в землянке, он слишком хорошо знал за собой серьезную слабость: привычку к употреблению крепких слов во время боя.

Дрозд продолжал:

- И вот еще что, командир полка велел - не пускайте ее отсюда. А то она любит лезть вперед, вместе с разведчиками.

- Ну и пусть лезет, если любит, - грубовато ответил Акимов. - Только и дела мне, что нянчиться с ней.

О новой переводчице Акимов уже много слышал. За десяток дней пребывания в полку она стала в своем роде знаменитой: о ее храбрости говорили даже старые разведчики, которых этим не удивишь. В частности, на днях рассказывали о том, как она три ночи подряд на участке второго батальона выползала на нейтральную полосу, в камыш, и вела разведку подслушиванием. Таким образом ей из разговоров немецких солдат и разных звуков на их передовой якобы удалось установить подход свежего немецкого батальона и занятие им обороны на левом фланге полка.

Откровенно говоря, Акимов сразу же, заочно, невлюбил ее. Сам человек необычайно храбрый и большой выдумщик по части подстраивания противнику разных каверз, он ревниво слушал рассказы о чьей-либо храбрости. Таковы тайные и жгучие язвы самолюбия, что рассказы эти воспринимались им всегда как упрек лично ему, Акимову: а ты этого не сумел! Тем более тут шла речь о девушке, что было и вовсе неприятно.

Впрочем, сейчас Акимову было не до нее. С каждой минутой темп жизни нарастал все

больше. Дверь землянки уже почти не закрывалась, а плащ-палатка, занавешивающая дверь, дергалась и хлопала беспрестанно: это появлялись и исчезали все новые действующие лица той драмы, которая должна была разыгаться завтра.

Акимов, отдавая бесчисленные распоряжения, уточняя с артиллеристами цели, с саперами - районы наших и вражеских минных полей и линий колючей проволоки, со своими офицерами - план действий на все могущие быть предсказанными случаи жизни, иногда забывал о событии, которое должно было произойти после боя, - об уходе в тыл. Вспомнив же об этом, он на мгновение замолкал, кровь горячо подступала к сердцу, и он косился на полковника с каким-то почти суеверным чувством: а сидит ли действительно там, в углу, этот полковник? Можно было чувствовать к нему какую угодно антипатию, но его присутствие здесь означало непреложный факт - завтрашний уход в тыл. А вдруг оглянешься - и никакого полковника здесь нет? Просто это был плод воображения, лихорадочного сна!

Но полковник сидел на месте, и это был, несомненно, реальный полковник, притом - полный желчи ревнитель уставов.

Посреди гула негромких разговоров, сухого треска открываемой и закрываемой двери и свиста ветра, то усиливающегося, то слабеющего, в землянке вдруг раздался звук, похожий на шипение закипающего молока, потом послышалась громкая и приятная мелодия: Майборода завел патефон.

- Это зачем же? - встrepенулcя полковник. - Прекратите. Нашли время!

Акимов, дававший артиллерийским офицерам цели на поражение, остановил карандаш, которым метил что-то на карте, и, взглянув на полковника в упор, спокойно возразил:

- Это я распорядился. Пусть играет. Немцы к этому привыкли. Если не поиграть вечером, они еще, чего доброго, заподозрят неладное. Военная необходимость, товарищ полковник.

"Попробуй придержиcя к этому черту", - подумал полковник, с уважением глядя на склоненную над столиком упрямую голову Акимова. Наблюдая за подготовкой боя, полковник не мог не отметить внешнего спокойствия и непринужденности молодого комбата, управлявшего людьми с уверенностью, которая дается привычкой командовать и личным бесстрашием.

- Минометная батарея немцев стоит вот здесь, - продолжал Акимов, энергично ткнув карандашом в какую-то точку на карте. - Накройте мне эту батарею, и я - царь.

Телефон заверещал, связист взял трубку и тут же передал ее Акимову, сказав:

- Вас командир полка просит.

Акимов поговорил с Головиным, вернее, молча слушал, что говорит ему командир полка, время от времени коротко вставляя: "понятно", "есть", "слушаюсь", "будет сделано". Только в конце разговора он вдруг покраснел и воскликнул:

- Что за наказание, товарищ майор! Опять про эту переводчицу! Да избавьте меня, бога ради, от такой обязанности - оберегать девицу... Есть. Хорошо. Ладно.

Он положил трубку, чертыхнулся и, разведя руками, сказал капитану Дрозду:

- Всё о вашей переводчице пекутся. - Он задумался, ехидно усмехнулся и добавил: - Наверно, у нее высокий покровитель какой-нибудь есть. Держал бы ее при себе.

Дрозд ответил сдержанно:

- Уж не знаю, есть или нет. Не мое дело.

Вошел низенький квадратный старшина, доложивший, что прибыли боеприпасы. С его шинели ручьями сбегала вода. И еще приходили люди с донесениями и просьбами разного рода.

"Все идет нормально", - думал полковник. Он поднялся с места и сказал:

- Пора. Я пойду погляжу ваш передний край.

- Прикажете сопровождать вас? - спросил Акимов, тоже вставая.

- Занимайтесь своим делом, а со мной пошлите кого-нибудь.

Адъютант батальона, лейтенант Орешкин, румяный, стройный, как тростинка, и красивый, как куколка, поняв кивок Акимова, взял автомат и пошел вслед за полковником.

В овраге их сразу, словно обрадовавшись новым жертвам, подхватил сильный ветер, больно хлеща по лицу холодными дождевыми каплями.

- Начнем справа, - сказал полковник.

Они пошли по оврагу. Здесь, несмотря на непроглядную темень, уже ощущалось непрерывное движение. Темные тени двигались во всех направлениях. Переваливаясь по щербатым ямам, поскрипывали повозки. Целые созвездия папиросных огоньков светились тут и там. Овраг вился то влево, то вправо, и ветер соответственно поворотам то утихал, то налетал с удвоенной силой.

Выбравшись из оврага, полковник с лейтенантом пошли по довольно мелкому ходу сообщения. Немецкие ракеты медленно и плавно подымались и опускались, бледным зеленоватым светом на мгновение освещая лабиринт залитых водой темных лазов, ходов и окопов, перерезавших землю вкривь и вкось, и стальную ленту ручья с дрожащими от холода зарослями осоки. Из землянки комбата все еще слышалась печальная музыка какого-то классического концерта.

- Давно с Акимовым работаете? - спросил полковник.

- Полгода, - охотно ответил шедший впереди молоденький лейтенант. - Я командовал взводом, потом Акимов взял меня к себе.

- Хороший командир?

- Очень! - Ответ прозвучал почти восторженно. - Лучший в дивизии. Между прочим, он моряк.

Трассирующие пули пронесли над головой.

- Здесь опасное место, - сказал лейтенант. - Траншея не закончена. Метров пятьдесят придется пройти по поверхности земли.

- А в акте указана сплошная траншея, - проворчал полковник.

Они почти на четвереньках переползли опасное место и опять спрыгнули в траншею, подняв целый фонтан воды. Здесь их окликнули. У прикрытого чем-то пулемета стояли два пулеметчика, а немного подальше - большая группа солдат. Оттуда раздавался негромкий, ласковый голос, говоривший:

- Итак, друзья мои, вот что известно нам из истории о справедливых и несправедливых войнах. Вот как наша партия относится к войне вообще и к нынешней Великой Отечественной войне - в частности. Да, нам трудно. Да, мы оставили дома свои семьи и свое дело, которому

посвятили жизнь. Да, мы, мирные люди, воюем беспощадно и деремся отчаянно. Потому что дело идет о свободе и независимости нашей родины и в конечном счете - о будущем всего человечества, о счастье поработанных народов Польши и Чехословакии, Франции и Бельгии, Дании и Норвегии.

Эти слова, произносимые в темноте ненастной ночи, были довольно обыкновенными словами, употреблявшимися многими военными политработниками, но тон, каким они произносились, и тихая ясность, которую излучал этот негромкий голос, по-особенному волновали душу.

Голос понемногу пропал в отдалении.

- Это кто? - спросил полковник.

- Наш замполит, капитан Ремизов, - ответил лейтенант. - Он у нас лучший политработник в полку. Между прочим, учитель.

- У вас одни только лучшие, - усмехнулся в темноте полковник.

И ему захотелось чем-то обрадовать молоденького лейтенанта и рассказать ему о том, что завтра его батальон вместе с другими отправится куда-то далеко от этого мокрого и трудного житья. Но он вспомнил обещание, данное Акимову, и промолчал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Аничка Белозерова

1

После ухода полковника Акимов переговорил со связистами. Он предложил им с утра развернуть рацию на случай, если противник на время выведет из строя проводную связь. Потом явились артиллеристы-наблюдатели, которых он разослал в роты, с тем чтобы они с самого переднего края могли корректировать огонь своих батарей.

На печурке закипал чай. Кое-кто из офицеров задремал, усевшись на солому. Майборода поставил новую пластинку. То и дело звонил телефон. Акимов принялся с полковым инженером окончательно решать вопрос о местах, где будут сделаны проходы в минных полях.

И вдруг за дверью землянки, совсем близко, раздался громкий, серебристый женский смех. Все подняли головы. Смех раздавался снова, уже рядом с дверью, дверь отворилась, плащ-палатка приподнялась, и на пороге появилась девушка. Она смеялась.

- Ох, умора! - произнесла она наконец, вытирая рукавом шинели мокрое смеющееся лицо. С минуту она стояла, довольно бесцеремонно оглядывая собравшихся в землянке людей, потом сказала: - Никак не ожидала услышать тут такую музыку! - Она подошла к патефону, сделалась вдруг серьезной и задумчивой, а когда пластинка пришла к концу, промолвила: - "Танец Анитры" Грига. Тут, я вижу, живут любители классической музыки.

Только после этого она поздоровалась:

- Здравствуйте. Кто здесь командир батальона?

- Я, - ответил Акимов, подчеркнуто лениво повернув к ней большую тяжелую голову.

Девушка, видимо почуяв что-то недружелюбное в этом ответе, сверкнула глазами, но представилась как положено:

- Военный переводчик лейтенант Белозерова.

Акимов ничего на это не сказал и снова отвернулся к инженеру. Она же подошла к Дрозду и, сказав: "Разведчики пришли", - села на корточки к огню.

Легкое замешательство, наступившее с ее приходом, рассеялось. Акимов продолжал - правда, громче, чем прежде, - уточнять с инженером участки разминирования. Офицеры, раньше дремавшие на соломе, остались в тех же позах, но сон с них как рукой сняло. Девушка, согрев руки, приблизила свое лицо к уху Майбороды и негромко спросила:

- Голубчик, нельзя ли еще раз поставить эту пластинку?

Майборода благосклонно кивнул, снова завел свой музыкальный ящик, и оттуда опять полилась причудливая и изящная мелодия знаменитого норвежца.

Хотя все как будто были заняты своим делом, но все тем не менее следили за девушкой. Тонкий овал ее юного лица, большие карие глаза, затененные ресницами редкостной длины, - без ресниц они казались бы нескромными, до того сияли они безмерной молодостью и жадной жизни, выдающийся вперед и придающий лицу выражение отваги подбородок гордячки, крохотные - по крайней мере в сравнении с остальными здесь в землянке сапожки, выше которых чуть виднелись, но с несомненностью угадывались стройные и крепкие ноги, - все это вместе не могло не поразить сидящих здесь людей хотя бы по одному тому, что они давно не видели женщин.

Что касается капитана Акимова, то его равнодушие было насквозь притворным. На самом деле он сразу забыл, что только за несколько минут жаловался на то, что он от всех слышит "переводчица да переводчица". Более того, он искренне удивился тому, что ему так м а л о говорили о ней. Что-то оборвалось в нем при виде девушки. Ему показалось, что он сразу понял, что именно эта девушка - кем бы она ни была и как бы ее ни звали, эта девушка, со смехом вынырнувшая из осеннего, темного, безбрежного мира, и есть та самая, о которой он думал в течение прошлой жизни. Весь мир, включая эту землянку, бесконечные овраги, разбитые деревни и изрытые саперными лопатами мокрые равнины в этот момент показались ему новыми, небывалыми, окрашенными в другой цвет и находящимися как бы в другом измерении. Или, может быть, он сам перешел сразу из одного состояния прежнего, привычного состояния души и даже прежнего физического состояния - в другое, необычное, более светлое, как перешел бы альпинист, поднятый на высокую горную вершину, в другую, высокогорную атмосферу, где дышать и легче и труднее.

Этот переворот, совершившийся в одну минуту, и не с восемнадцатилетним юношей, а с почти тридцатилетним человеком, уже выдавшим жизнь и знавшим женщин, показался ему самому не только глупым и ненужным, но и смертельно опасным. Он привык управлять самим собой, выражением своего лица и сердечными своими движениями. И в этот миг, почуяв, что где-то он может оказаться во власти чужой, непонятной силы, с которой ему не справиться, он решил дать ей беспощадный отпор. И прежде всего он решил ожесточиться, во что бы то ни стало ожесточиться.

С этой целью он стал думать о том, что, очевидно, как он и предполагал раньше, у девушки есть "высокий покровитель", проще сказать любовник в большом звании, который настолько влиятелен, что заставляет даже командира полка заботиться о ее безопасности. "Кто бы это мог быть?" - с потугами на презрение начал думать Акимов, хотя сознавал, что никакого презрения не испытывает и вовсе не интересуется узнать имя того человека.

Далее, он решил, что она показалась ему привлекательной и чудесной только и

исключительно потому, что она - одна женщина среди многих мужчин, и тяга к ней - не более чем тяга к женщине вообще, самая низменная, физическая тоска по женскому телу. В связи с этим он мысленно утверждал, что, увидев ее на улице в Одессе или Севастополе, он, вероятно, и не оглянулся бы на нее, потому что там она была бы одна из многих и не лучше других, а, может быть, хуже.

Далее, она о чем-то шепчется с Майбородой, пригибаясь к его уху, из чего следует, по всей вероятности, что она привыкла к мужскому обществу и готова любезничать со всяким.

Далее. Войдя, она сказала: "Ох, умора", - что не является доказательством ее культурности, а скорее напоминает уровень некоторых портовых красоток. Это обстоятельство, как ни странно, особенно задело или, наоборот, устраивало - Акимова, потому что он, вышедший сам из глубин народа, сумел прочитать уйму книг, много работал и учился, и культурная отсталость молодого человека при Советской власти, так широко поощряющей учение, справедливо казалась ему признаком расхлябанности, лени и никчемности величайшей.

Далее, она, по всей вероятности, не умна. Почему она смеялась? Почему музыка должна вызвать у девушки такой странный и пошлый рефлекс?

Вот эти и другие защитные линии воздвигал Акимов вокруг своего сердца.

При всем том прежняя напряженная и сложная жизнь продолжалась. Время начала боя неотвратимо приближалось. Возникали все новые вопросы, и Акимов как бы со стороны наблюдал за собой и слышал, как чужой, свой собственный голос, так же спокойно, как всегда, отдающий приказания и спрашивающий советов; видел себя задумавшимся на мгновение по поводу какого-нибудь серьезного дела и потом так же ясно принимавшим решение, о котором тут же - и совершенно спокойно - сообщал остальным; он видел себя поднимающимся с места, идущим к телефону и говорящим с командиром полка, с его заместителем по тылу, с командующим артиллерией дивизии по поводу бесчисленного множества разных деталей, имеющих жизненно важное значение для успеха боя.

Все делая как обычно, Акимов особенно остро замечал то, что творилось около девушки. Он обратил внимание на то, что артиллеристы, с которыми обо всем было договорено, не ушли, а подсели к ней и разговаривают с тем неестественным выражением лиц, какое бывает у мужчин в присутствии красивой женщины; что капитан Дрозд, всегда шумливый и развязный, теперь, возле переводчицы, очень робок; что даже пожилой инженер Фирсов и тот говорит ей что-то приятное; что Майборода, этот известный жмот, угощает переводчицу бараниной.

Больше всего Акимова задело поведение пришедшего из рот капитана Ремизова. Кто-кто, а Ремизов, носивший фотографию своей жены, Марии Алексеевны, в левом кармане вместе с партбилетом, известный среди офицеров под прозвищем "монах", - этот должен был бы вести себя сдержаннее. Но и он был очарован новой переводчицей и не пытался это скрыть. Краешком глаза Акимов наблюдал, как Ремизов, глупо (как теперь казалось Акимову) улыбаясь, показывает девушке фотографию своей жены, потом дает ей три куска сахара, и она глотает, смеясь, кипяток с сахаром Ремизова, который, таким образом, остался вовсе без сахара, что почему-то особенно разозлило Акимова.

"Хотя бы приличия ради отказалась", - думал он и свирепо поглядывал на Ремизова. Все это лебезение перед "девицей" наконец осточертело Акимову, и он, вставая, громко сказал:

- Хватит. Все по местам.

Артиллеристы нехотя поднялись и нехотя ушли. Связисты, помявшись и еще несколько минут потолковав с Акимовым насчет связи, ушли тоже.

- Устраивайтесь, кто где хочет, - бросил Акимов оставшимся, а сам начал надевать



телогрейку. - Я пойду в роты, - сказал он Майборде.

В этот момент начался очередной немецкий артобстрел. Он продолжался недолго и закончился так же внезапно, как и начался. То был самый обыкновенный артиллерийский налет, но Акимов поймал себя на том, что он боится попадания снаряда в землянку.

Сразу же после артналета дверь распахнулась, и вошли - вернее, ввалились - полковник с Орешкиным.

- Чуть под мину не угодили, - сказал полковник, возбужденный и помолодевший. От его лоска ничего не осталось, он был весь в грязи и глине.

Подняв глаза, он увидел девушку и вдруг, пораженный, воскликнул:

- Аничка! Как ты сюда попала?

Девушка присмотрелась к нему, вся просияла, обхватила его шею и закричала:

- Семен Фомич, дружище! Вы-то что тут делаете?

- Потом объясню, потом, - покосившись на присутствующих и густо покраснев, забормотал полковник. - Ты на фронте? Здесь? А где папа?

Слово "папа", произнесенное в этой землянке перед боем и устами угрюмого и строгого полковника, прозвучало до невероятности странно и нежно. Оно вдруг заставило людей, связанных только службой и общим делом, посмотреть друг на друга по-новому - как на людей, имеющих папу, маму, бабушку и прочее такое, далекое, как облака.

Акимов, уходя, впервые посмотрел на полковника с некоторой симпатией и подумал даже, что он ошибся в этом старике и что на самом деле это, вероятно, хороший и душевный старик. И то, что у девушки есть папа обстоятельство как будто более чем естественное - и что этот полковник знаком с ним, тоже показалось Акимову, неизвестно по какой причине, очень приятным и даже важным, словно оно, это обстоятельство, снимало с девушки что-то нехорошее из того, о чем Акимов думал раньше. И вместо того чтобы досадовать по этому поводу, Акимов против своей воли радовался.

2

Аничка Белозерова смеялась, входя в блиндаж, вот почему. Когда она, очутившись вместе с разведчиками в овраге, услышала музыку - сначала издали, потом все ближе, - мелодия показалась ей знакомой и напомнила довоенное прошлое: Москву, уроки музыки и все остальное, связанное с мирным временем. Чем ближе она подходила, тем светлее становилось у нее на душе. Приостановившись и прислушиваясь, она непроизвольно спросила у самой себя вслух:

- Что это играют?

И тут неожиданно из крошечной темноты раздался спокойный и веский голос какого-то солдата:

- Танец Анюты играют. Это у нашего комбата в блиндаже.

Тут Аничка в самом деле узнала "Танец Анитры" Грига и от души рассмеялась новому, сильно обрусевшему солдатскому названию этого танца. Весь остаток пути до землянки захлебывалась она счастливым смехом, который так странно прозвучал среди окружающего сурового пейзажа войны и напряженного безмолвия перед боем.

Встреча же с полковником Верстовским, старым знакомым ее отца, женатым на их дальней родственнице, и вовсе растрогала ее. Вместе с музыкой Грига она живо напомнила Аничке тот прошлый мир, который еще недавно казался ей узким, ограниченным и даже немного мещанским, а теперь, на фронте, представился не таким уж плохим.

Короткий рассказ Анички о событиях последнего времени и особенно о ссоре ее с отцом вызвал суровые упреки и тяжкие вздохи Семена Фомича.

Отец Анички, генерал-лейтенант медицинской службы Александр Модестович Белозеров, был знаменитым военным врачом. С августа 1941 года он работал в качестве главного хирурга одной из южных армий. Аничка осталась в Москве одна. Матери у нее не было - она умерла уже давно.

Аничка училась на втором курсе института иностранных языков, на немецком отделении. Институт в полном составе - вместе с преподавателями, знатоками немецкой литературы, - копал траншеи и противотанковые рвы вокруг Москвы, а в октябре его эвакуировали на восток, и Аничка отправилась в большой приволжский город. Здесь Аничка затосковала. Ей показалось стыдным и ненужным пребывание в институте. Она и так знала немецкий язык лучше всех на курсе: ее мать, окончившая в свое время в Швейцарии, в Цюрихе, медицинский факультет тамошнего университета, сама занималась с ней в детстве немецким языком, и занималась настойчиво, с беспощадностью хорошей матери. Таким образом, Аничка свободно говорила по-немецки, и знатоки удивлялись чистоте ее произношения.

Институт стал попросту ненавистен Аничке. Она теперь отдавала себе ясный отчет в том, что поступила сюда только потому, что и ранее знала немецкий язык, а учиться по-настоящему не хотела из-за постыдной лени и расхлябанности. Она признавала теперь правоту своего отца, который не желал отдавать ее в этот институт, презрительно именуя его "убежищем для ищущих мужа перезрелых барышень". Он хотел видеть свою единственную дочь врачом. Однако она сумела поставить на своем и вот теперь истерзала себя упреками. С началом войны она яростно возненавидела язык, на котором говорили захватчики. В огромной беде, обрушившейся на миллионы людей, Аничка впервые с полной ясностью подумала о своем долге и решила, что должна быть там, где труднее всего. В свете этих мыслей ей показались ничтожными повседневные интересы, которыми жили студенты, и ненавистными те из ее соучениц, которые все еще, хотя и меньше чем раньше, думали о нарядах и молодых людях. Разумеется, в своих страстных порывах к борьбе за общее дело Аничка преувеличивала собственные и чужие недостатки, но это преувеличение было естественным и плодотворным.

Содрогаясь от жалости, наблюдала она за толпами эвакуированных людей, согнанных немцами со своих мест и полных еще не улегшегося смятения. Санитарные поезда привозили в тихий город раненых солдат, и Аничка страдала при виде их страданий и от бессилия помочь им.

И вот она пошла к директору института и попросила дать ей годичный отпуск. Она не скрывает от него, что намерена вернуться в Москву и оттуда поехать на фронт. А именно, она хотела, подобно девушкам, о которых иногда писали газеты, пробраться в немецкий тыл, вредить немцам и передавать по радио или каким-нибудь другим полагающимся в таких случаях путем сведения о противнике.

Директор - может быть, по формальным соображениям, а скорее всего для того, чтобы не пускать на войну молодую и неопытную девушку, да еще дочь известного хирурга - наотрез отказал ей. Она тут же решила, что он изверг и дурак, и стала собираться в путь без разрешения.

О своем замысле она рассказала только одной подруге, Тане Новиковой. Таня очень

разволновалась и согласилась ехать вместе с ней. Они целый день бродили по городу, долго стояли на набережной зимней, скованной льдами Волги, говорили разные красивые, но искренние слова и торжественно поклялись друг другу в том, что всегда будут стараться поступать честно и справедливо.

Но вернуться в Москву без разрешения оказалось не простым делом. Москва все еще была прифронтовым городом, и проезд туда был связан с большими хлопотами, с обязательным вызовом какого-нибудь учреждения и другими трудностями. Таня испугалась, как бы ее, словно преступницу, не посадили с поезда и не отправили с позором обратно в институт. Тогда Аничка решила отправиться одна.

Она села в поезд без билета, так как для получения его нужен был пропуск в Москву. Устроившись на уголке какого-то сундучка в загроможденном людьми и вещами вагоне, она вначале очень волновалась. Окружающие люди показались ей крикливыми и злыми. Каждый старался занять место получше, и это обстоятельство как-то очень обижало Аничку. Но потом, когда поезд тронулся, выяснилось, что в вагоне сидят хорошие люди. Приглядевшись друг к другу и перезнакомившись, они стали дружелюбными и добрыми. Шум и споры улеглись, все довольно сносно разместились и зажили общей товарищеской жизнью.

Сперва Аничка опасалась проверки документов, но успокаивала себя тем, что ее отец - генерал: справку об этом она имела. Еще больше успокаивала ее мысль, что, как только она объяснит, зачем едет, ее беспрепятственно пустят в Москву. Убедив себя в этом, она ехала уже совершенно спокойно, разглядывая людей своими большими глазами и вызывая в окружающих чувство симпатии и радости, о чем она, по молодости лет, только еще начинала подозревать.

Так, в сознании - еще неясном, но могучем - своего обаяния и своей правоты, догадываясь, что нет большей силы, чем внутренняя убежденность, она проделала первые сутки пути.

Но вот случилось то, что должно было раньше или позже случиться. Дверь в вагон открылась, и проводница провозгласила: "Проверка документов!"

Аничка встретила военных, проверявших документы, спокойным и открытым взглядом, и те, как ни странно, спросили документы у всех, кроме Анички. Не то чтобы они ее не заметили. Нет, они ее заметили очень хорошо, но, пожалуй, подумали, что не может такая девушка ехать одна, без папы или мамы. Один из них даже улыбнулся ей, и его угрюмое кирпичное лицо покрылось при этом грубыми, но добрыми складками. Она тоже улыбнулась ему, но потом рассердилась на себя за это, потому что в своем нынешнем состоянии напряженного самоконтроля поняла, что улыбнулась только для того, чтобы его задобрить и этим предупредить могущий сорваться с его губ вопрос о документах.

Поняв это и решив, что поступила нехорошо, она догнала проверявших уже на площадке вагона и сказала им, что пропуска в Москву у нее нет, но попасть туда ей необходимо. Так как колеса стучали очень громко, они не слышали, и она повторила свои слова. Тот, с кирпичным лицом, взглянул на нее удивленно. И, увидев девушку в красной вязаной шапочке и таком же шарфе, видимо, припомнил ее. "Мы же у вас уже проверяли", - проговорил он, недоумевая и как будто даже с досадой. После чего они скрылись в тамбуре соседнего вагона, а она вернулась к себе, сконфуженная, но радостная, так и не поняв, что случилось. Аничка - не без оснований - решила, что своим видом просто вызывает у всех чувство доверия, и это наполнило ее благодарностью к людям. А она, по своей наивности, боялась, как бы ее без документов не приняли за шпионку. Она сама смеялась бы над своими страхами, если бы могла посмотреть на себя чужими глазами.

Занятая собственными мыслями и замкнутая, как вообще все люди, решившиеся на что-то серьезное, Аничка смотрела на окружающее отчужденно. Все, что она видела как бы

издалека, тем не менее приводило ее в умиление: грубые звуки однорядной гармошки, крепкий запах махорки и даже самые незначительные слова, высказанные сидящими здесь простыми людьми, - все это казалось Аничке полным глубокого смысла. Может быть, почувствовав в ней жжение внутреннего огня, все в вагоне относились к Аничке очень хорошо, беседовали с ней очень охотно, рассказывали ей о своей жизни, работе и о великих потерях, причиненных каждому из них - прямо или косвенно - войной.

Но внимательнее всех был к ней длинноногий лейтенант, которого все в вагоне звали Витей. Он уже успел побывать на фронте, был там ранен и теперь возвращался из госпиталя обратно на фронт. На его груди висела медаль "За отвагу", и, так как в то время награжденных было еще мало война только начиналась, - Аничка преисполнилась глубоким уважением к этому молодому человеку, шумному и всегда веселому. Он не мог не заметить ее пристальных взглядов и, приписав их совсем другим причинам, стал за ней ухаживать, делился с ней едой, приносил кипяток и вообще был крайне предупредителен.

Он устроил ее рядом с собой на верхнюю полку, где было теплее и спокойнее. Когда стемнело, она почувствовала, что лейтенант стал к ней прижиматься, затем обнял ее и начал трогать руками. Она замерла. Тогда руки лейтенанта стали еще более развязными. А она удивлялась и никак не могла понять, как может он так вести себя, когда кругом война и всюду столько горя и надо бы думать совсем о другом. Она спустилась вниз и уселась на старое место - на чей-то сундучок, стоявший в проходе. А лейтенант обиделся на нее и долго сидел там наверху молча, но потом не выдержал и слез. Примостившись возле нее, он стал вполголоса сердито спрашивать, зачем она слезла, и начал что-то говорить о том, что теперь война, всюду столько горя, может быть, его через несколько дней убьют, неужели же она такая злая. Она ничего не отвечала, думая совсем о другом, и ей казалось, что она не в поезде, а где-то в пустынном месте и никого вокруг нет. А в небо поднимаются сизые, клубящиеся и чуть красноватые дымы. И эти дымы почему-то казались ей похожими на туманные жалобы, которыми старался ее смягчить лейтенант.

А он все говорил свое, и тогда она сказала, что не любит его. Ей самой было смешно, что она ему это говорит, как будто он сам этого не знает.

Все-таки он отстал и полез наверх к себе. Она же осталась сидеть на своем месте в проходе. Тут сразу несколько голосов из темноты пригласили ее занять место получше, и кто-то хотел даже уступить ей лежачее место на второй полке. Но она отказалась от этих одолжений. Потом лейтенант опять прыгнул и попросил ее сесть на прежнее место, так как там теплее и удобнее. Когда она отказалась, он сказал, что сам останется внизу и пусть она не беспокоится. Голос его звучал искренне. Не было сомнений в том, что на этот раз он действительно хочет сделать ей лучше. Она полезла наверх, а он постоял внизу, потом вышел погулять на какую-то станцию, вернувшись же, поднялся к ней и спросил, разрешает ли она ему сесть рядом. "Садитесь", сказала она, тронутая его смирением. Он действительно был совершенно искренен и очень жалел о своем глупом поведении с ней. Но, усевшись рядом, он не смог совладать с собой и снова, хотя на этот раз гораздо осторожнее и словно невзначай, начал обнимать ее. Она сказала ему, морщась: "Какой вы слабый человек", - и эти слова, по сути дела не очень обидные, но сказанные с суровой прямоотой из самой глубины сердца, возымели свое действие и отрезвили лейтенанта лучше всяких нравоучений или скандалов. Он, смешно надувшись, больше не трогал ее. От полноты души и в знак благодарности за это она погладила его по плечу. Но опять получилось так, что он принял это движение за поощрение, и тогда она окончательно сошла вниз и уже наотрез отказалась сидеть с ним рядом.

Она встала у окна и начала глядеть в ночную морозную муть. Там, за окном, было очень холодно. В вагоне плакал ребенок. И Аничке вдруг пришло в голову, что жизнь ее будет трудна и что вообще жизнь трудна. И что мужчинам жить гораздо легче, поэтому в старых пьесах и романах так часты переодевания девушек в мужскую одежду. Несмотря на

незначительность происшедшего только что маленького дорожного приключения, Аничка ужаснулась от предчувствия, что ей придется переживать нечто подобное не раз.

Она с нетерпением ждала, чтобы скорее настал день. Наконец солнце взошло. Снежные просторы покрылись нежными розовыми отсветами. И в ранних солнечных лучах заиндевелые деревья и белые снега засверкали и заискрились так, что вскоре глазам стало больно смотреть. В этом очень юном свете дня одинокие домики путейцев казались сказочными избушками и всякая малость полосатый шлагбаум, лающая на поезд черная собачонка, машущая ручками детвора, лошадь, тянущая розвальни по мягкой желтоватой дороге, - все выглядело праздничным и прекрасным. Любуясь этой красотой, Аничка успокоилась и повеселела. И с новой, еще большей силой почувствовала, что позади нее, в вагоне, сидят люди, оторванные от своих семей, озабоченные и, при всех своих слабостях, очень хорошие: это была война, в которой тысячи разных судеб причудливо перепутались между собой, переплелись в один огромный клубок, и вот она, Аничка, тоже уже не просто человек, а военная судьба, которая неизвестно как сложится.

В ее юном сердце все время жило и тихо переворачивалось болезненно острое чувство любви к окружающим людям, и ей хотелось скорее очутиться на фронте, там, где можно на деле доказать эту любовь.

### 3

Поезд прибыл в Москву вечером. Когда Аничка оказалась на Комсомольской площади, ей вдруг захотелось поцеловать мерзлую землю своего родного города. Она раньше никогда не думала, что так любит Москву, наоборот, ей казалось, что она к Москве равнодушна, и ее даже раздражали нескончаемые выпренные слова, расточаемые столице в стихах и песнях. А теперь она поняла, что эти слова просто слабы и бледны по сравнению с настоящим, подлинным значением расстилавшегося перед ней великого города. Все вызывало в ней волнение - любой знакомый дом, наклеенная на щите сегодняшняя московская газета, театральная афиша, уличная суতোлка и певучий говорок подмосковной молочницы. А главное - сознание того, что отсюда, из этого города, тянутся нити ко всем городам и селам, фронтам и армиям, что сюда, в этот город, обращены взоры миллионов людей, полные боли и веры.

С замиранием сердца вошла Аничка к себе в квартиру - пустую, холодную и необжитую. Все здесь стояло на своих местах, но на всем лежал отпечаток заброшенности. Весь многоэтажный дом напоминал остановившийся трамвай, в котором что-то испортилось, а все пассажиры его покинули и он стоит посреди улицы, безжизненный и холодный. Добрая половина соседей находилась либо в эвакуации, либо на фронте. Зато оставшиеся встретили Аничку радостными восклицаниями и наперебой зазывали в свои квартиры - они знали ее со дня ее рождения, знали ее отца и помнили мать. Многие помнили даже, как Аничку в детской коляске впервые вывезли гулять во двор. Они пришли в ужас, узнав, что у нее нет хлебных карточек, тут же сложились - каждая соседка по кусочку - и составили таким образом для нее скудный хлебный паек, который исправно приносили ей и в последующие дни.

Начались хлопоты о поступлении в армию. Аничка ходила то в горвоенкомат, то в Московский комитет комсомола. После бесед и заполнения анкет она, усталая, голодная, как волк, с кружащейся головой, но с легкой походкой и душевным спокойствием, бродила по Москве и не могла наглядеться на улицы и площади, на проходящие то и дело колонны солдат в стальных касках и на аэростаты воздушного заграждения, лежавшие посреди бульваров, чуть покачиваясь на стропах при порывах ветра.

К родственникам своим Аничка не являлась. Иногда она порывалась пойти к тете Наде, с тем чтобы хоть раз досыта поесть, но и к ней не пошла, так как не хотела говорить тете неправду о причине своего пребывания здесь и вообще не желала объясняться по поводу своих дел.

Тетя Надя вскоре объявилась сама. Кто-то из знакомых, встретив Аничку на улице, поспешил сообщить об этом тете Наде.

Высокая, полная, очень похожая на отца Анички, Надежда Модестовна, поднявшись на четвертый этаж пешком, так как лифт не работал, довольно долго не могла оправиться от одышки. Наконец, придя в себя, она закидала племянницу вопросами и восклицаниями. Узнав, в чем дело, она обомлела, широко раскрыла свои все еще прекрасные синие глаза, плюхнулась в кресло и, вдруг напомнив какую-нибудь свою прародительницу - бабушку или прабабушку из московских прасолов, - совсем потеряв свой лоск и интеллигентность, закричала:

- Ишь чего вздумала! Сбрендил ты, что ли? Ты же единственная у Александра дочка! Ты же его в гроб сведешь!

В эти секунды Аничка почувствовала к ней самую настоящую ненависть, хотя тетя Надя была ее любимой теткой. Но когда тут же выяснилось, что старший сын тети Нади, Валерик, уйдя в ополчение, пропал без вести, Аничка бросилась тетке на шею, и они обе долго плакали. В слезах Анички излилось все напряжение последних недель, в них была и просьба о прощении за минутную ненависть к тете.

Надежда Модестовна, вскоре успокоившись, решила, что почти уговорила Аничку отказаться от ее планов. Она прежде всего потребовала, чтобы племянница немедленно переехала к ней. Муж тети Нади, Илья Иванович, работает в штабе ПВО Московской зоны. Паек они получают хороший. Как раз она должна ехать в распределитель получать этот паек. Она настояла, чтобы Аничка поехала вместе с ней. Они поехали, и Аничка увидела впервые за много месяцев колбасу, копченую рыбу и масло. Как ни совестно было Аничке сознаться перед собой в том, что она любит покушать, но у нее потекли слюнки. Тут тете Наде пришла в голову прекрасная идея: Илья Иванович устроит Аничку в штаб ПВО вольнонаемной. Она будет получать хороший паек. И она будет все равно что на фронте: ведь оборонять Москву от этих стервятников - тоже дело важное и серьезное!

Аничка рассеянно улыбалась, слушая взволнованную болтовню тети Нади, и пытливо заглядывала в собственную душу, как бы спрашивая: "А Не лучше ли так - и Москву защищать, и быть с тетей Надей, есть белужий бок".

Хотя у тети Нади была просторная квартира, она обязательно захотела спать вместе с Аничкой. Илья Иванович, служивший за городом, редко ночевал дома.

Тетя Надя приготовила ванну, и обе - толстая сорокапятилетняя красавица и молоденькая девушка - весело плескались в ней, забыв обо всем на свете. Тетя Надя критически оглядела Аничку и сказала, глядя пухлой ручкой плечи и грудь племянницы:

- Ну и раскрасавица же ты стала, Аничка... Ну и будет же кто-нибудь любить тебя, Аничка!

Потом она всплакнула, вспомнив сына, но тут же с некоторым легкомыслием, ей свойственным, сразу перешла от печали к надежде, заявив, что сын ее наверняка среди партизан. Не может ведь такой парень, лыжник, спортсмен, умница, погибнуть так вот, ни за грош. Рассуждая подобным образом, она совсем успокоилась и уже говорила о том, что сын жив, с такой уверенностью, словно знала это точно и неопровержимо.

Аничка стала одеваться и в полутьме медленно натягивала на себя тетину широкую ночную сорочку из розового шелка с бантиками. Тетя Надя опять умилилась, глядя на ее красивые руки и ноги. Сквозь слезы повторяла она:

- Писаная красавица. Я и не думала никогда, что ты будешь такая красавица.

Когда они уже легли, в городе раздался заунывный и бесконечно траурный гуд сирен воздушной тревоги. Репродуктор тоже заворчал и объявил тревогу, Аничка погасила свет и подняла темную штору. По небу бегали лучи прожекторов, время от времени выхватывая из темноты спокойный и далекий силуэт аэростата.

- Не пойду в убежище, надоело, - капризно сказала тетя Надя и крепко прижала к себе Аничку.

Наговорившись всласть, тетя Надя уснула, а Аничка, несмотря на мягкость перины и на приятное состояние довольства и сытости, долго не спала и глядела на тетю Надю, на ее сдобный двойной подбородок и белую шею. И опять почувствовала внезапную неприязнь к ней, к тому, что она спит, когда сын ее пропал без вести и где-то стреляют зенитки. Сама ощущая свою неправоту, прекрасно понимая, что люди должны же спать, что бы там ни было, Аничка все-таки не могла освободиться от этого чувства и даже отодвинулась, чтобы не слышать идущего от тети Нади приятного и опрятного запаха чистого тела, туалетного мыла и духов.

- Помилуй тебя господь, - прошептала тетя, и Аничка поняла, что она во сне обращается к сыну. Но это старинное выражение тоже не растрогало Аничку. Она перевела по институтской привычке это выражение на немецкий язык и сразу подумала, что так же напутствовали, быть может, немецкие матери своих сыновей, бомбящих теперь московские пригороды.

4

Через три дня, утром, прилетел с фронта профессор Белозеров.

Он вошел, большой, грузный, слегка огрубевший, с поседевшими усами и совсем уже белой головой, принес с собой чужие, диковинные запахи бензина, ременной кожи и дыма. Он загорел, обветрился, и его огромные синие глаза - точно такие же, как у тети Нади, - казались теперь еще синее и еще добрее.

- Принимайте старого фронтовика! - закричал он с юмором, но не без гордости.

Как всегда, его присутствие создавало атмосферу спокойствия, доброты и взаимного доверия. Достигал он этого не обилием ласковых слов или улыбок. Он и говорил немного, и улыбался редко. Пожалуй, главное заключалось во взгляде его глаз, полных доверия к людям, более того любования людьми, и властно требующих взаимности. Он был добр почти до бесхарактерности, до того, что никто не решался злоупотреблять такой исключительной добротой.

Профессор Белозеров был выдающимся хирургом. Профессию свою он ставил выше всех других на свете и дожил до пятидесяти семи лет, ни на йоту не потеряв чувства юношеского благоговения перед ней, что, впрочем, не исключало некоторого недовольства медленным развитием медицинской науки. Несмотря на это недовольство, он оптимистически предсказывал, что в течение ближайших двадцати лет медицину ожидает новый небывалый подъем на основе достижений других, смежных и несмежных наук, многие из которых неожиданно окажутся, не могут не оказаться, решающими и для медицины.

Приехав к тете Наде, Александр Модестович прежде всего умылся и, тщательно вытирая руки, как перед операцией, лукаво глядя на Аничку, время от времени спрашивал:

- Ну-с, Анна Александровна, как живем-можем?

Вероятнее всего, что Илья Иванович каким-то образом сообщил ему на фронт о приезде Анички в Москву и о ее планах. Так или иначе, Александр Модестович ничего об этом ей не сказал. Он уселся рядом с дочерью и, ни о чем не спросив, стал рассказывать о своей работе

на фронте, о сложных операциях, сыворотках, переливаниях крови. Аничка, выросшая в докторской семье, прекрасно знала медицинскую терминологию, и профессору доставляло удовольствие беседовать с ней, как с врачом, пользуясь латынью и вспоминая разные довоенные случаи из своей врачебной практики.

Рассказывал он ей и о своих фронтовых впечатлениях, намеренно сгущая краски в том смысле, что старался представить фронтовую жизнь очень прозаической, обыкновенной и даже скучной.

Ревниво и горячо любя свою дочь, профессор Белозеров в то же время относился к ней с той преувеличенной критичностью, какую иногда усваивают умные отцы. Он находил ее взбалмошной, ленивой и слишком изысканной во вкусах и привычках. Конечно, он отдавал должное и ее хорошим качествам уму, природной доброте, восторженности, умеряемой хорошо развитым чувством юмора, наконец, твердости характера. Но вот именно эта твердость характера казалась ему чаще всего просто сумасбродством "барышни". Слово "барышня" в его устах было самым ругательным словом, означавшим бездельницу, белоручку, неженку - то, что он с усмешкой называл "родимым пятном капитализма".

Александр Модестович был сторонником жесткого воспитания, считал, что детей надо приучать к лишениям и физическому труду. Однако так он думал только теоретически, а на деле проявлял к дочери слабость, которая его самого угнетала и раздражала. Поневоле приходилось оправдывать себя тем, что она с тринадцати лет осталась без матери, а он был занят работой.

Следует сказать, что Александр Модестович явно недооценивал воспитание, полученное Аничкой дома, в школе и вообще среди окружающей жизни. Он, по сути дела элементарно, считал, что главное в воспитании это наставления, нравоучения, разного рода советы, и упускал из виду, что душа девочки впитывала в себя впечатления окружающей среды, примеры беззаветного труда и преданности своему долгу, которые она ежедневно и ежечасно встречала во многих знакомых ей людях и в самом ее отце. Он не учитывал, что она - в меру понимания, свойственного ее возрасту, критически подходит к явлениям, полусознательно отбрасывая все не находящееся в соответствии с тем пониманием жизни, какое укоренилось в их семье и семьях, связанных с ними. Одним словом, Александр Модестович Белозеров, несмотря на свой выдающийся ум и проницательность, мало знал собственную дочь и слабо разбирался в ее внутреннем мире.

Поэтому то, что ей вздумалось бежать из института на фронт, удивило его, испугало и показалось неожиданным и непохожим на нее.

Рассказывая ей о своих фронтовых впечатлениях, он пристально смотрел на нее и ждал, когда же она заговорит о себе.

Но она молчала и только со сдержанным волнением следила за ним из-под полуопущенных век. Ни у него, ни у нее не хватало мужества начать после долгой разлуки тяжелый разговор, который, как они оба предполагали, может закончиться ссорой и взаимным неудовольствием.

Наконец он решился первый и попросил рассказать, что заставило ее совершить необдуманный шаг, не списавшись с ним. Она попыталась объяснить ему ход своих мыслей и побуждения, и он, слушая Аничку, думал, что, не будь она его дочерью, мотивы ее показались бы ему вполне уважительными и закономерными в условиях такой войны. Но она все-таки была его дочерью, и он, глядя на ее юное лицо, раскрасневшееся от волнения, с замиранием сердца думал о том, что ее могут убить. Да, это был древний инстинкт, и Александр Модестович, как ни старался быть объективным, ничего не мог поделать с ним. Тогда он попытался скрыть правду ссылками на разные другие, второстепенные и третьестепенные



обстоятельства. Он сказал, что бегство ее из института - даже и ненавистного ей - акт недисциплинированности, которая в военное время недопустима. Наконец он просто предлагал ей поступить в медицинский институт либо в крайнем случае отправиться на фронт с ним вместе.

Он сознавал шаткость своей позиции, и тем более убедительные и красноречивые слова находил для того, чтобы отговорить дочь от ее намерений. Но все уговоры оказались напрасными. Ехать с ним вместе она отказалась - она не желала "всю жизнь оставаться профессорской дочкой". В институт она поступит после войны.

Тогда он заподозрил ее в том, что она решила отправиться на фронт по другим, сугубо личным причинам. То есть познакомилась и влюбилась в какого-нибудь офицера-фронтовика, который повлиял на нее в этом смысле. О таких случаях профессор слышал где-то от кого-то.

Когда он сказал ей об этом напрямик, Аничка вспыхнула от обиды. Но подозрения эти были, как она знала, настолько беспочвенны, что она только гордо тряхнула головой и сказала, что считает весь разговор ненужным и жалким и жалеет, что у хороших людей бывает столько нехороших задних мыслей.

На следующий день генерал Белозеров улетел обратно на фронт, так ничего и не добившись от дочери.

В Московском комитете комсомола и в военкомате у Анички с зачислением в армию пока ничего не выходило - тут сказывалось ее бегство из института, которое, естественно, вызывало некоторую настороженность. Тогда Аничка решила обратиться к старинному другу их семьи, генерал-лейтенанту Силаеву, работавшему в Генеральном штабе.

Жил он, кстати, у себя в служебном кабинете - семья его находилась в эвакуации, и ходить домой, в холодную квартиру, полную чересчур дорогих воспоминаний, ему не хотелось. Да и работы было слишком много, чтобы по старому обычаю куда-то уезжать и утром обратно возвращаться на службу.

Приземистый человек с могучей шеей и стриженной ежиком большой простецкой головой, генерал Силаев из батраков ушел когда-то в Красную Армию и с тех пор служил в ней, не представляя себе иной жизни, чем военная, и иного костюма, чем военный. Он был военным в лучшем понимании этого слова, так как вместе с умением беспрекословно подчиняться умел заставлять людей беспрекословно выполнять свои собственные приказы; вместе с некоторой внешней прямолинейностью, похожей на грубость, он был тонким знатоком солдатской души и большим эрудитом в вопросах военной истории; вместе с безусловным пониманием и соблюдением генеральского достоинства ему был присущ тот глубокий и непобедимый демократизм в обращении с людьми, который привлекал к нему сердца подчиненных.

Выслушав Аничку, он, к ее радости, даже не попытался выразить сомнение в целесообразности ее поступка. Он все сразу понял и оценил и, вопреки опасениям Анички, ни словом не заикнулся о трудностях, которые ее ожидают, и о ее "деликатном воспитании".

Он сказал:

- Ладно. Понимаю. Ясно. Правильно. А куда ты хочешь?

Она сказала, что знает немецкий язык и поэтому считает себя способной - после соответствующего обучения - работать в тылу у немцев. Он забарабанил пальцами по столу, приговаривая: "Так-так-так..."

- По-немецки я говорю, как настоящая немка.
- Так-так-так, - говорил он, барабаня пальцами по столу.
- И я смогу выполнить любое задание в тылу врага.

Он перестал наконец барабанить пальцами, долго молчал, кивал головой и упорно о чем-то думал. Казалось, что он ищет пути, как лучше и скорее осуществить ее просьбу, на самом же деле он размышлял о том, как бы сделать так, чтобы не исполнить желания Анички. Он вполне признавал законность ее душевных стремлений и вполне разделял ее чувства. Находясь в ее положении, то есть будучи двадцати лет от роду и зная в совершенстве язык противника, он бы тоже, вероятно, добивался того же, чего добивалась она. Но он слишком любил и высоко ценил профессора Белозерова, чтобы послать его единственную дочь на такое сложное и опасное дело, к тому же, как он догадывался, против желания отца.

- Вот что, - сказал он наконец. - Мы так порешим. Ты иди в свой военкомат, пусть тебя зачислят в армию. Затем придешь ко мне. Распоряжение военкомату о твоём зачислении будет отдано.

Он проводил ее до лестницы и долго стоял наверху, глядя ей вслед, качая головой, покашливая и усмехаясь.

Усилиями генерала Силаева Аничка была послана переводчицей в штаб Западного фронта. Она очутилась в большом тихом селе и была помещена в двухэтажном доме, в одной комнате с двумя девушками-бодистками, Клавой и Машей. Стояла не очень холодная, но ветреная зима. Вообще здесь было тихо - гораздо тише, чем даже в тыловом приволжском городе, откуда она убежала. Широкая улица отгородилась от мира шлагбаумами, возле которых стояли часовые в больших тулупах. Офицеры штаба работали много, но работа эта казалась Аничке чисто канцелярской. Никто не стрелял, а все писали и разговаривали по телефону. Телефонов же было много, вся окрестность была переплетена телефонными линиями, тянущимися на шестах, деревьях, столбах телеграфа и просто по земле.

Клава и Маша в качестве старожилов и по привычке делали вначале всю работу в комнате. Они убирали, кололи дрова, носили воду, отбирали у Анички носовые платки и стирали их вместе со своими собственными. По правде говоря, Аничка всего этого вначале почти не замечала, вернее - это ей казалось естественным. Но однажды, заметив это, она ужаснулась и немедленно перевернула весь порядок вверх дном. Она сразу же приняла все хозяйственные заботы на себя, так как была значительно менее занята работой, чем девушки, которые ночи напролет просиживали в подземном помещении, где находился военный телеграф.

Девушки ее любили и говорили о ней, что хотя она и дикая, но очень хорошая.

Она действительно казалась окружающим людям дикой. С мужчинами она была высокомерна, держала себя с ними холодно и отпугивала их насмешливыми остротами, а тех, кто к ней приставал, она казнила тем, что с невинным видом во всеуслышание, на людях, не считаясь с присутствием старших начальников, со смехом рассказывала об их ухаживаниях, выставляя их в таком глупом виде, что они приходили в отчаяние. Это средство самозащиты оказалось очень действенным. Ее прозвали "мощным узлом сопротивления". И надо сказать, что, как ни странно, это ее поведение нравилось всем - даже многим из самих пострадавших - и возбуждало во всех чувство уважения к ней и какой-то даже гордости за нее. Оказывается, тот длинноногий лейтенант в поезде многому научил ее.

- Ох, умора! - смеялась Клава, прослышав об Аничкиных расправах со штабными вздыхателями. - Ты молодец, Аничка, так им и надо. Ты хорошая.

Но Аничка не казалась себе хорошей. Она считала, наоборот, что она очень плохая, взбалмошная, неуравновешенная, слишком рефлектирующая, словно все она взвешивает, ничего не делает без предварительного обдумывания, как бы решая в каждом случае: это хорошо, это плохо. Быть хорошей в результате предварительного обдумывания казалось ей нечестным. Она считала, что поступать хорошо нужно бессознательно и только тогда можно быть спокойной и счастливой.

Почти с первых же дней пребывания в штабе фронта Аничка стала добиваться, чтобы ее направили если не в тыл врага, то по крайней мере ближе к передовой. Но дело это продвигалось туго, и в этом не последнюю роль играли тайные "козни" генерала Силаева и то обстоятельство, что фронтовое начальство, разумеется, знало, чья она дочь. Кроме того, ее стремление куда-нибудь в полк или в дивизию, поближе к передовой, воспринималось многими как детская романтическая прихоть и поэтому не одобрялось.

Месяцы пребывания в штабе фронта все-таки не прошли даром для Анички. Она вошла в быт, в образ жизни армии, усвоила целый ряд необходимых каждому военному человеку понятий и привычек. Она, далее, участвовала в допросах редких пленных (наше контрнаступление под Москвой уже кончалось, и пленных было мало), прилежно переводила немецкие письма и документы на русский язык, усвоив таким образом стиль немецких воинских документов и вообще переписки. Она также хорошо изучила организацию, уставы, мундиры, знаки различия и отличия немецкой армии. Номера немецких дивизий перестали быть для нее пустым звуком, враг перестал быть отвлеченным и страшным понятием, а облекся в плоть и кровь, в цифры и факты.

Наконец, она выработала здесь для себя самой те нормы поведения, которые снискали ей прозвище "дикий", но создали вокруг нее атмосферу не замутненного какими-либо двусмысленностями уважения.

Несмотря на это, она упорно добивалась своего и, проявляя терпение и настойчивость, понемногу переходила все ближе и ближе к передовой: из штаба фронта - в штаб армии, из штаба армии - в штаб дивизии и, наконец, в полк.

Обо всех этих перипетиях рассказала Аничка, - конечно, вкратце и не касаясь самого сложного: всех внутренних переживаний, - полковнику Семену Фомичу Верстовскому в блиндаже капитана Акимова в ночь перед боем.

Полковник только головой качал и ахал.

- Бедный Александр Модестович, - бормотал он.

Он посмотрел на часы, вспомнил, что пора идти, и все-таки ему трудно было уйти от Анички, ему казалось, что он делает преступление перед своим другом, профессором Белозеровым, оставляя ее здесь одну, как бы без присмотра.

- Мне надо идти, - сказал он наконец. - Во время боя придется быть с командиром вашего полка. Ты тоже приходи туда. Нечего тебе делать здесь.

Пригнувшись к ней и опасливо оглядевшись, он сообщил ей о завтрашней смене.

Затем он прошел к тому закоулку в овраге, где стояла его машина, сел в нее и поехал к штабу полка. Но и в машине он не мог успокоиться и, к удивлению шофера, все твердил:

- Ну и Аничка... Ну и девчонка...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Одновременно с Верстовским к Головину приехал командир дивизии генерал-майор Мухин. Выслушав доклад командира полка о ходе подготовки предстоящей разведки боем, генерал сказал:

- Не знаю, как быть с Акимовым. Сегодня получили распоряжение откомандировать его в Москву для дальнейшего прохождения службы в военно-морском флоте.

- Наконец-то! - обрадовался за товарища Головин и тут же опечалился: - Жаль. Хороший командир.

Генерал пытливо взглянул на него:

- Так как вы считаете? Пусть проведет бой или сразу сейчас отозвать?

Головин, колеблясь, долго не отвечал. Разумеется, для успеха боя было бы целесообразнее не отзывать сейчас Акимова. С другой стороны, незаменимых людей нет. А бой будет тяжелый.

Головин посмотрел на комдива. Они оба думали об одном и том же.

- Лучше все-таки, если он проведет бой, - медленно произнес генерал.

Акимов в это время ходил по своему переднему краю, заглядывая в ниши и землянки, негромко окликая дежурных пулеметчиков и стрелков. Он останавливался у пулеметов и проверял каждый из них, давая короткую очередь в ночную темноту.

Большинство солдат, кроме дежурных, спали, как ранее приказал Акимов. Он просовывал голову в землянки, где они спали. Оттуда тянуло спертым воздухом от сушившихся портянок и махорочного дыма, слышался храп и тяжелое дыхание, кашель и произносимые во сне отрывочные слова.

- Спице, спице, - бормотал Акимов словами старой песни, - друзья, под бурей ревущей... С рассветом глас раздастся мой... - продолжал он бормотать по дороге к следующей землянке, с остервенением разрезая сапогами высокую воду, - ...на подвиг иль на смерть зовущий...

- Кто идет? - окликнули его. И тут же узнали: - Здравствуйте, товарищ капитан.

- Здорово. А ты кто?

- Вытягов.

- Здравствуйте, сержант. Не спишь?

- Не сплю.

- С чего бы это?

- Не спится.

- Оружие чистили?

- Все в порядке.

- Патроны получили?

- Получили.
- И бронебойные получили?
- И бронебойные.
- Как тут немец?
- Дрыхнет. Ракеты изредка дает. Закурим, товарищ капитан?
- Закурим.

Они закурили. Огонек спички осветил лицо Вытягова, спокойное и доброе.

- И долго мы здесь просидим, в этой мокрети? - спросил он.
- Про то знают бог и Верховный Главнокомандующий.
- Это верно.
- А что? Трудновато?
- Как сказать... Надоело.
- Война не тетка. Ложись спать, сержант. Надо выспаться.
- А на море лучше воевать, чем на суше, товарищ капитан?
- Смотря какая суша. Тут воды столько, что и сушей не назовешь.
- Хе-хе... Верно.
- Это кто там хихикает?
- Это я. Корзинкин.
- А-а, санинструктор!.. И ты не спишь?
- Да вот не сплю. Мы тут с Файзуллиным рассуждаем.
- Ты тоже здесь, Файзуллин? Нехорошо. Комсорг, а показываешь такой пример...
- Комсоргу спать не положено, товарищ капитан.
- Да ладно с твоей политграмотой. Про что же вы рассуждали?

Последовал смущенный ответ:

- Про жизнь, в общем. Про то, как дальше будем жить, после войны то есть.
- Далеко вперед загадываешь.
- Вот Файзуллин, к примеру, желает поступить в рыбный институт.
- Техникум, - поправил Файзуллин.
- Ну да. Он говорит, что у них в Казани...
- У них в Казани пироги с глазами. Ложитесь спать. Прошу вас, как братьев, прошу. Куда это годится?

Покачивая головой и усмехаясь в темноте, Акимов пошел по направлению к батальонной кухне. Она помещалась в одном из боковых тупичков большого оврага. Тут было тепло и светло от огня. Повар Макарычев отдал рапорт. Лицо его лоснилось и выражало спокойное довольство.

- Чего на завтрак готовите? - спросил Акимов.
- Пшеничный концентрат.
- А мясо есть?
- Мяса не клал. А что? Класть?
- Клади.
- Мы уже, товарищ капитан, по мясу норму перевыполнили.
- Ничего. Клади. Либо корму жалеть, либо лошадей жалеть.
- Прикажете отпустить, товарищ капитан.
- Прикажу. Двойную норму клади. Понял?
- Понял.
- И кормить всех в пять тридцать. Часы есть?
- А как же! Есть.

Акимов подошел ближе к повару и сверил свои часы с огромной серебряной луковицей Макарычева.

- Твои отстают, - сказал он. - Переведи на двенадцать минут.

Постояв несколько минут молча, наслаждаясь ласковым теплом, идущим от кухонного огня, Акимов пошел на свой наблюдательный пункт. К нему вела длинная узкая щель, оканчивающаяся тупиком, перекрытым бревнами в два наката и засыпанным землей сверху.

Под этими бревнами щель была несколько расширена и снабжена амбразурой. В обычное время здесь находилась пулеметная точка. Теперь все уже было приспособлено служить в качестве НП. Радист развернул рацию и, время от времени проверяя слышимость, полусонным голосом считал:

- Один, два, три, четыре, пять.

Несколько телефонов стояло рядом на земляном полу, который был уже устлан все теми же ивовыми прутьями: видимо, Майборода успел побывать здесь. Да и скамейка тут стоит.

Акимов уселся на скамейку и посмотрел в амбразуру. Дождь - нудный и бесконечный - все еще лил и лил. Было и так темно, а тут еще на низину лег туман, сквозь который не просматривался даже ручей. Только иногда редкая ракета освещала бледным светом эту темень и туман, похожий на клубы медленного дыма, и тогда видны были мятущиеся, как бы в страшном волнении, прибрежные заросли.

Там, за ручьем, на высоком западном берегу, очень выгодном для обороны, были леса, неразрушенные деревни с бревенчатыми избами, а дальше находился город Орша, о котором Акимов ранее знал только понаслышке либо из школьного учебника. Но теперь этот город в течение месяца представлялся ему целью всех мечтаний. Несмотря на вполне

понятное чувство радости, возникшее в нем при известии о близком уходе на отдых, было все-таки как-то жаль, что так и не возьмешь эту Оршу, а, пожалуй, главное, что нехватишь высокую лесистую местность перед передним краем, местность, изученную путем непрерывного наблюдения до самых мелких подробностей, местность, где так много дров для топки и рощ для маскировки, где можно было бы понастроить уйму уютных, теплых, обшитых досками землянок и бань. Солдаты обычно глядели с вожделием на этот желанный кусок земли, на эту "землю ханаанскую", как называл ее Майборода, знаток старинных священных выражений. А потом выпал бы снег вместо этого гнилого дождя, и тогда только воюй да воюй...

Но дело, разумеется, было не в одном только каком-нибудь куске земли. Ибо, как ни суживали фронтовые будни батальонного масштаба круг человеческих интересов и стремлений, но Акимов все время помнил, какое значение имеет занятие Орши для всей армии: этот узел стратегических и рокадных дорог открывал нашим войскам путь на Польшу.

Из амбразуры задувал ветер, принося с собой капли дождя. Акимов вытер лицо и вдруг подумал о том, как хорошо было бы рвануться вперед не на полтора или двести метров, как предусмотрено приказом, а пойти и пойти по белорусской земле, потом вступить освободителями на польскую землю, а там Германия, Франция, берега Атлантики.

Акимов мысленно усмехнулся этим далеко идущим стратегическим планам, столь непосильным для одного подразделения. Пока суд да дело, нужно продвинуться на эти двести метров сквозь плотный огонь. "Мы придем, придем, но не так скоро", - пробормотал Акимов, обращаясь, быть может, к Польше и Франции, о которых он часто думал и которые очень жалел.

Дождь все шел. Видимость во время боя будет плохая, и нужно, чтобы связь работала безотказно. Впрочем, под прикрытием тумана легче будет подтянуть подразделения ближе к противнику для короткого броска. Обдумав это обстоятельство, Акимов соединился по телефону с майором Головиным, но того не оказалось на месте.

- Он выехал к вам, - сказал дежурный офицер из штаба полка. - Вместе с десятым.

За спиной Акимова тихо разговаривали связисты.

- Ты здесь, Майборода? - негромко спросил Акимов. Он всегда, в любой темноте, чувствовал присутствие ординарца.

- Здесь.

Акимов послал Майбороду за командирами рот, а сам сел ждать прихода командира полка и командира дивизии - "десятого".

Не прошло и пяти минут, как по щели забегали огоньки фонариков. Выйдя из землянки в щель, Акимов доложил:

- Первый батальон готовится к выполнению боевой задачи. Командир батальона капитан Акимов.

- Вольно, - послышался голос генерала Мухина. Его рука, протянувшись из темноты, пожала руку капитана. - Как дела, комбат?

Акимов сообщил ему свой план действий, в том числе и мысль об использовании в своих интересах тумана.

- Хорошо, - сказал командир дивизии. - А если немцы заметят?

- В тумане они все равно не смогут вести прицельного огня, поддержал комбата Головин.

- Как настроение? - спросил комдив.

Акимов ответил коротко:

- Хорошее.

- Что ж, молодец. Тебе хорошо среди воды. В родной стихии.

- Танков не дадите? - спросил Акимов.

- Нет.

- Понятно.

- Не считаю целесообразным.

- Понятно.

- К чему тебе танки? Ничего не видно - раз. Грунт такой, что даже на гусеницах далеко не уедешь, - два. Подход танков разоблачит предстоящую атаку - три.

- Понятно.

- Понятно, понятно! Ты все "понятно", а сам сердисься. Артиллерии дам много. Мы им такой огневой вал устроим, только держись.

- Понятно.

- Вот и все. Действуй. Привез я тебе стереотрубу. Гляди в оба, как большой начальник. Сейчас к тебе приедут представители двух артиллерийских и одного минометного полка. Начало атаки - залп "катюш", целым дивизионом.

- Спасибо, товарищ генерал.

- Ты чего меня благодаришь? Разве младшие благодарят старших? Это я тебе скажу спасибо, когда ты хорошо проведешь бой.

- Виноват, товарищ генерал.

- То-то.

Генерал постоял молча, потом внезапно зажег фонарик и осветил лицо Акимова. Лицо комбата, обрамленное темной бородой, было сосредоточенным и серьезным.

Неожиданно генерал спросил:

- А тебе хотелось бы опять на корабль? - Акимов удивился праздности этого вопроса, но генерал не дал ему ответить и продолжал: - Взять бы теперь да очутиться подальше отсюда, где-нибудь в синем море? А?

Акимов с некоторой досадой махнул рукой и сказал:

- Единственное место, где я хочу теперь быть, - это немецкая траншея, вон там, напротив нас.

Генерал погасил фонарик и сказал чуть изменившимся голосом:



- До свидания, комбат.

Он медленно пустился по щели в обратный путь, а майор Головин, сильно пожав руку Акимову на прощание, ушел вслед за генералом. Вскоре послышался шум отъезжающей автомашины.

- Скорей бы рассвело, - сказал кто-то.

- Проходы в минных полях сделаны? - спросил Акимов.

- Готово, - ответил из темноты Фирсов.

Невдалеке, в овраге, бренчали котелки. Солдаты завтракали.

Рассвет наступал туго, как будто нехотя. Но все-таки Акимов уже узнавал лица стоявших почти гуськом в узкой щели людей. Он посмотрел на часы, потом поднял глаза и увидел среди других переводчицу. Он отвернулся, совершенно равнодушный, и с мимолетным удовлетворением отметил в себе это равнодушие.

- Сверим часы, - сказал Акимов с некоторой торжественностью в голосе. В руках у офицеров блеснули часы, у кого ручные, у кого карманные. - Пять сорок. Погосян, можешь начать двигаться. Через двадцать минут начнешь и ты, Бельский. Без шума. Все время держите связь, в случае необходимости посыльными.

Оба командира постояли еще с минуту и ушли.

Акимов повернулся и пошел к себе на НП. Стереотруба уже стояла на месте, двумя холодными стеклянными глазами уставясь вдаль. В углу, обняв колени руками, сидел Майборода. Радист склонился над своим аппаратом. Из расположенной неподалеку землянки, где находились артиллерийские наблюдатели, слышался негромкий говор.

Туман все густел. Он был похож на тот утренний туман, который иногда покрывает поверхность моря, и Акимову вдруг представилось, что вот за этим серым туманом действительно скрывается море и что, когда туман рассеется, он увидит пронзительную синеву и стройные очертания кораблей.

Его воображение внезапно разыгралось, и он увидел перед собой знакомую картину морской пристани, сутолоку различных, непохожих друг на друга посудин в неширокой бухте. Ему показалось даже, что он ощущает соленый запах.

Он подумал о том, что приморский город ничем, собственно, не отличается от любого другого города. Такие же улицы, дома, мостовые, у стен домов между камнями весной пробивается зеленая травка. И вот ты идешь по одной из таких ничем не примечательных улиц, и вдруг за каким-то поворотом перед тобой вырастают тонкие линии мачт и рей, и сразу же весь мир преобразается, обычное становится необыкновенным, и тобой овладевает безмерная жажда передвижения, путешествия, жажда новизны.

Отдавшись этому внезапному полету воображения, Акимов тем не менее знал, что это только оболочка, внутри же, во всю ширину сердца, живет и болит совсем другая, жгучая и всеобъемлющая мысль: что там делается на самом деле, в этом тумане, из серого ставшем молочно-белым. Где там люди? Погосян, Бельский, Вытягов и многие другие, которых он, всех без исключения, хорошо знал и за жизнь которых втайне боялся. Да собственно говоря, они сейчас даже не интересовали его как люди, а только как исполнители той державной воли, которая заставляла командира дивизии и полковника Верстовского, майора Головина и его, Акимова, пушкарей, связистов, саперов, весь полк, всю дивизию и всю армию сражаться и жертвовать собой. Никто не мог бы всех этих людей заставить делать то, что они делают, -

только неистребимое и глубокое чувство долга, ставшее чертой характера.

- Позавтракайте, товарищ капитан, - сказал Майборода для очистки совести: он знал, что Акимов сейчас есть не будет. Акимов ничего не ответил. Он ждал. И вот раздалось тихое верещание телефона: "Сирень" (Погосян), а вслед за тем и "Фиалка" (Бельский) сообщили, что подразделения заняли исходный рубеж для атаки.

2

Стрелки часов приближались к восьми. Напряжение стало уже невыносимым, когда раздался первый залп орудий.

Землянка задрожала. Акимов замер, пристально глядя в одну точку, на дрожащее бревно, из-под которого то и дело валялись кусочки глины. Артиллерия рокотала. Ее рокот то сливался в один тревожный и сильный гул, то распадался на отдельные мелкие гулы.

Акимов подошел к амбразуре. Впереди расстилалась одна сплошная полоса тумана, медленно черневшего от примеси порохового дыма. А ближе, образуя косую сетку, все так же падал мелкий дождь.

В ту секунду, когда артподготовка закончилась и как бы на закуску был подан залп "катюш", прорезавший вихрем темное небо, ухо Акимова уловило хотя и смягченное туманом, душившим звуки, как вата, но отчетливое "ура".

Теперь как раз туман был совсем некстати. Он мешал артиллерии, сопровождавшей пехоту, и мешал Акимову управлять боем. События, творившиеся в тумане, казались очень далекими, оторванными от мира и не поддающимися постороннему влиянию.

Акимов связался по телефону с первой ротой. Оттуда доложили:

- Мешает продвигаться пулеметный огонь. Деремся в тумане.
- Откуда огонь?
- Справа, фланкирует.
- Далеко от противника?
- Кто его знает? Близо, кажется.
- Ружейный огонь?
- Слабый.
- Пулемет подавите своими средствами. Продвигайтесь вперед. Неуклонно продвигайтесь вперед.

Во второй роте, у Бельского, дело обстояло хуже. Перейдя ручей, она встретила сразу же сильный огонь и залегла в прибрежной осоке.

- Делай бросок и врывайся в траншею, - сказал Акимов. - Сирень прошла далеко вперед, а ты отстаешь.

Какой-то шутник или романтик дал, в виде, что ли, компенсации за дурную погоду, всем подразделениям в таблице позывных названия разных цветов. Странно было в этот дождь, слякоть и туман обмениваться такими словами, как "Сирень", "Фиалка", "Жасмин", "Черемуха". Артполк, например, прозывался "Ромашкой", а страшные для противника гвардейские минометы "катюши" - "Колокольчиком". Цветы, цветы, цветы - лесные, полевые и

садовые - тревожно перекликались друг с другом, вдруг вызывая в душе множество разных ненужных воспоминаний.

Между тем немецкие пушки, укрощенные было нашим огнем, заметно ожили. Наши ответили им, и разыгралась артиллерийская дуэль. Из соседней землянки все чаще и взволнованней раздавались артиллерийские команды. Шрапнель, фугасные и осколочные с различными угломерами и в разных дозах - то целыми батареями, то по нескольку штук, то даже дивизионами - посылались туда, за молочно-белую, а теперь покрасневшую от огня полосу тумана.

Наконец туман медленно рассеялся. Перед глазами Акимова открылась долгожданная картина переднего края, но ничего особенного там не было заметно, только изредка то тут, то там перебежали, низко пригнувшись, маленькие фигурки в серых шинелях, почти сливавшиеся с землей. Их казалось очень мало. Их и было очень мало.

- Что мешает тебе продвигаться? - настойчиво бросал Акимов в трубку. - Ты меня поняла, Фиалка? Что мешает тебе продвигаться?

Но Бельский не успел ответить - порвалась связь. Пока связисты выбежали на линию соединять провода, связь порвалась и с Погосяном. В этот момент позвонил Головин:

- Доложите обстановку, Акимов.

Но тут же порвалась связь с полком.

Ремизов сказал:

- Я пойду к Бельскому. Он там, бедняга, совсем запоролся.

Акимов кивнул головой и снова сел к стереотрубе.

Когда связь с Погосяном наладилась, тот ликующим голосом сообщил, что ворвался в траншею немцев и ведет в ней бой.

- Ты понимаешь? - кричал Погосян, возбужденный донельзя. - Ты понимаешь или не понимаешь? Он тут наставил рогаток и мин натяжного действия. Очищаясь от них, черт их возьми! Я тут весь в рогатках, понимаешь или нет? Очень нехорошо.

- Закрепляйся, - сказал Акимов. - Помоги Бельскому, очищай траншею влево. Готовь гранатометчиков. Выдвинь ПТР. Я вижу - немцы собираются в деревне, готовятся к контратаке. Почему не слышу твои пулеметы?

- Они в пути, понимаешь? Вот они идут. Они переползают. Я тут весь в рогатках и ежах.

- Помогай Бельскому. Он застрял. Ты не видишь, что ему там мешает?

- Бельскому? Что ему мешает? Ничего ему не мешает! Не понимаю, почему он не продвигается. Вот у меня это действительно черт знает что, понимаешь или не понимаешь? А у Бельского тихо, как на кладбище. - Он, помолчав, сказал уже тише: - Мы тут у немцев два пулемета захватили. - И еще тише: И два ящика вина.

- Смотри там, пусть никто ни калли не пьет, - угрожающе предупредил Акимов, - а то я к вам приду, расправлюсь со всеми.

Вскоре возобновилась и связь с Бельским.

- Мины задерживают, товарищ капитан, - сказал Бельский. - Тут все заминировано.

- А саперы где?

- Они здесь. Работают. Но мин очень много.

- Посмотри, как далеко прошел Погосян. Он уже в траншее.

- Хорошо Погосяну, противник там не оказывает никакого сопротивления...

- Ладно, - сурово прервал его Акимов. - Свое горе - велик желвак, чужая болячка - почесушка... Где Ремизов?

Ремизов взял трубку.

- Ремизов, - сказал Акимов. - Бельский действует недопустимо медленно. Посмотри там, что к чему, и предупреди его, что если он не выполнит задачу, будет отдан под суд трибунала.

Спустя минуту эту же фразу сказал Акимову по телефону майор Головин:

- Командир дивизии велел передать тебе, что если ты не выполнишь задачу, будешь отдан под суд трибунала.

- Понятно, - пробурчал Акимов.

- И я вместе с тобой, - закончил Головин.

- Вдвоем веселее, - сказал Акимов.

Вскоре немцы на участке Погосяна перешли в контратаку. Фигурки немцев, как ваньки-встаньки, только успев подняться, снова падали. Казалось, будто они сваливаются с пригорка, играя в какую-то мудреную игру, смысл которой заключается в том, чтобы не свалиться вниз, в то время как снизу кто-то тянет. Во второй траншее противника тоже накапливалась пехота.

Раздался еще один залп "катюш". Столбы пламени покрыли немецкий передний край. Когда снова стало видно, Акимов заметил бегущих назад немцев.

- Бегут, - сказал Майборода. И добавил: - Зер гут.

В землянке и в щели все закурили, зашептались, заметно оживились.

Мимо пронесли раненых. Они тихо стонали. Трое других раненых медленно и спокойно, не прячась, словно уже полученные раны предохраняли их от пуль, шли по поверхности земли.

Акимов, разъяренный, высунул голову из землянки и крикнул:

- Марш в укрытие, черти!

Те смиренно спустились вниз и уселись в щели неподалеку от НП.

Вслед за первой последовала вторая немецкая контратака, на этот раз при поддержке трех танков, которые тоже будто нехотя скатывались зигзагами вниз, туда, где засели наши. Тут же, как назло, снова порвалась связь.

- Орешкин, - сказал Акимов. - Иди к Погосяну.

- Лейтенант Погосян убит, - сказал рядом один из тех трех раненых, которых Акимов заставил спуститься в щель. Он курил махорку.

- Да? - сказал Акимов и, помолчав, добавил: - Орешкин, примешь командование первой ротой.

Не отрывая глаз от стереотрубы, он взял телефонную трубку и сказал:

- Лилия, слышишь? Дай бронейными по танкам. Слышишь?

Акимов вызвал к рации командир дивизии.

- Удерживаем первую траншею, - доложил Акимов, - но противник напирает.

Командир дивизии спросил про левый фланг.

- Отстала Фиалка, - сказал Акимов. - Туда пошел Ремизов. Выправим положение. Прошу огня по деревне, там противник снова накапливается для контратаки.

Наконец позвонил Ремизов.

- Мы пошли, - сказал он. - Сделали два прохода. Дайте огня по роще квадратной. Там два пулемета.

Огонь был дан немедленно, и Ремизов, не отходя от трубки, твердил все более восторженно:

- Очень хорошо. Как хорошо! Как точно! Прямое попадание в немецкий дзот. Какая точность! Какие мастера! Спасибо им. Мы двинулись.

Акимов и сам видел, как солдаты второй роты, ободренные точной работой артиллеристов, во весь рост бросились вперед. Вскоре прибежал связной, сообщивший, что вторая рота ворвалась во вражескую траншею и вступила там в рукопашный бой.

Когда Акимов доложил об этом командиру полка, Головин сказал:

- Высылаю к тебе взвод из моего резерва. Можешь ввести его в бой по твоему усмотрению. - После некоторого молчания Головин спросил: Удержишься в немецкой траншее?

- Удержусь, - сказал Акимов.

Положив трубку, он впервые подумал о Погосяне. Погосян любил покушать и выпить. Женщин он тоже любил. При виде женщины его глаза так и разгорались, причем ему было безразлично - красивая она или некрасивая, молодая или пожилая. Он любил их как-то бескорыстно, как любят произведения искусства. "Тот, кто их выдумал, - говорил он, улыбаясь при этом вовсе не цинично, а даже скорее стыдливо, - был неглупый человек..." И покушать же он умел, бедняга Погосян! Полная противоположность Ремизову.

Акимов медленно взял трубку и вызвал Фиалку. Когда она отозвалась, он сказал:

- Передайте Ремизову, что я приказал ему вернуться ко мне на НП. Поняли? Повторите.

Фиалка повторила.

Акимов закурил и прислушался к тихим разговорам солдат.

- Люблю низкую облачность во время боя, - сказал Майборода.

- Да, - поддержал его телефонист. - Нелетная нынче погодка.

- Когда мы воевали под Ельней... - начал вспоминать кто-то из солдат.

- А вот подо Ржевом... - вмешался другой.

Тут Акимов вызвал опять к рации командир дивизии. На сей раз он был расположен очень благодушно.

- Спасибо, Акимов, - сказал он. - Удержишь?

- Удержу, - ответил Акимов.

Сразу же после этого разговора Орешкин доложил, что его солдаты выбиты из вражеской траншеи.

- Сейчас я к тебе приду, - сказал Акимов.

Он встал и застегнул шинель на все пуговицы. Одновременно, побледнев, встал и Майборода. Но Акимов снова сел на скамейку, и Майборода, вздохнув, сел тоже.

Затем в землянку вошел низенький, как мальчик, востроносенький, с большими остановившимися глазами, младший лейтенант. Он представился:

- Командир взвода младший лейтенант Фильков. Прибыл в ваше распоряжение.

- Сколько у вас народу? - спросил Акимов.

- Восемнадцать человек.

- Не густо.

Он оглянулся и увидел всю тянущуюся от НП в тыл узкую длинную щель, в которой сидели и стояли связные, связисты, а также раненые, все еще не решавшиеся уйти из-за почти не прекращающегося артобстрела.

- Беги на кухню к Макарычеву, - приказал Акимов Майбороде. - Пусть он вместе со своими помощниками и повозочными бежит сюда. Чтобы ни одного человека там не осталось. Все сюда.

Майборода исчез, а Акимов вышел к порогу землянки и сказал:

- Тут остаются вот эти три связиста и радист. Остальные поступают в распоряжение младшего лейтенанта Филькова. Легко раненные тоже.

Вернувшись к амбразуре, он с минуту поглядел в трубу, затем, повернув голову к младшему лейтенанту, спросил его:

- Давно на фронте?

- Второй день, - вполголоса ответил Фильков. Помолчав, он добавил: Но я буду стараться.

- Я понимаю, - успокоительно и очень ласково сказал Акимов.

Вскоре пришли "тыловики": Макарычев и с ним человек восемь. Акимов объяснил Филькову задачу и сказал:

- Как придете к Орешкину, сообщите по телефону или посыльным. Попрошу у командира дивизии дать еще одну небольшую артподготовку.

Вместе с Фильковым Акимов вышел в щель и, пройдя по ней метров двести, увидел невдалеке в овраге взвод младшего лейтенанта. Люди встали при его приближении. Это

были порядком изнуренные, но спокойные, видавшие виды люди.

Фильков машинально сказал:

- До свидания.

И ушел во главе своих людей. Строй замыкал очень красный, потный и чуть прихрамывающий Макарычев, посмотревший в лицо Акимову жалкими, испуганными глазами. Он немного отстал от строя и спросил:

- А обед, товарищ капитан? Обед кто будет готовить, товарищ капитан?

- Я, - безжалостно ответил Акимов и пошел обратно на НП. Здесь его уже ожидал Ремизов. Замполит был весь черный. Глаза его за очками лихорадочно и весело блестели.

- Отбились гранатами от контратакующих немцев, - сказал он.

Акимов сказал:

- Останешься тут за меня. Информируй Головина почаще. А я пойду к Орешкину.

- А где Орешкин?

- Вместо Погосяна. Погосян убит.

- Да? - спросил Ремизов. - Только час назад я его видел.

- Пошли, - сказал Акимов Майбороде.

3

Они двинулись по щели, потом повернули в другую. Противник стрелял из минометов, мины рвались кругом. "И чего его потянуло вперед, - тоскливо думал Майборода, прижимаясь к стенке хода сообщения. - Ему надо батальоном управлять, а не вперед лезть". Он смотрел на вызывающе спокойный затылок Акимова с некоторой даже злостью: "И кто его посылал? Если бы ему приказали - дело другое. А то он сам лезет, неизвестно зачем..."

Ко всему прочему, Акимов довольно громко и как бы одобрительно говорил при каждом разрыве немецкого снаряда:

- Вот хорошо. Так, так. Вот, вот.

Да, Акимов был доволен, что немцы стреляют часто и много, давая возможность таким образом нашим артиллерийским разведчикам засекают местоположение вражеских огневых позиций - для того в конце концов и затеян этот бой.

- Так, так, - бормотал Акимов, сердито, но злорадно косясь на разрывы то слева, то справа.

Траншея становилась все мельче и наконец незаметно кончилась. Невдалеке протекал ручей, но его берега не были видны, так как кругом стояла вода, и границы ручья были обозначены только торчащей из воды осокой и тонкими, дрожащими под ветром ивами, у которых верхушки и ветки были изломаны и расщеплены. По воде шла мелкая дождевая рябь. Рядом, на кочке, уткнувшись головой в мокрую землю, а ноги держа в воде, сидел телефонист с аппаратом и бубнил:

- Подснежник. Подснежник. Подснежник. Товарищ Акимов. Товарищ Акимов.

- Да посмотри сюда, - сказал Акимов. - Твой Подснежник же здесь, возле тебя стоит.

Телефонист поднял кверху мокрое, как от слез, лицо и, сразу просветлев, сказал:

- Товарищ капитан, вам Сирень передает: Фильков прибыл. Когда артиллерия заработает, спрашивают.

- Скажи, сейчас у них буду. Где Орешкин?

- Вон там, - показал телефонист пальцем на кустарник на другом берегу.

Акимов шел во весь рост, и Майборода вынужден был идти так же. Ему казалось, что его видят все немцы отсюда до Берлина, и было страшновато.

Они перешли ручей и воду в его пойме по торчащим тут и там кочкам, камням и бревнам, оставшимся от разрушенного мостика. Вода весело и игриво журчала под ногами, неся с собой желтые кленовые листочки. На другом берегу воды сразу стало меньше, берег отлого подымался кверху. Сразу же отсюда начинались свежие мелкие окопы, по всей видимости совсем недавно отрытые нашими солдатами. Дальше, в кустарнике, кругом лежали люди Филькова. Акимов поискал глазами среди них и заметил повара Макарычева, который уже приободрился и даже рассказывал окружающим его бойцам какую-то историю. Солдаты сдержанно смеялись, поглядывая вперед.

Орешкин, Фильков и капитан Дрозд сидели в щели.

- Ну, как дела? - спросил Акимов, сверху нагибаясь к ним.

Орешкин радостно улыбнулся, и его красивенькое личико расплылось, словно приход Акимова изменил все положение. Акимов презрительно спросил:

- Ты чего здесь сидишь? Погосян захватил траншеею, а тебя оттуда выпихнули, и ты еще ухмыляешься. Я тебя, сукиного сына, под трибунал отдам. Где твои солдаты?

Орешкин побледнел и вылез из щели.

- А твои разведчики где? - спросил Акимов, обернувшись к Дрозду.

- Здесь, со мной.

- Пусть идут вперед вместе со всеми. Для меня каждый человек дорог.

Дрозд угрюмо возразил:

- Я не могу посылать разведчиков в атаку. У них своя задача.

- Они ее не выполняют, - сказал Акимов, и его лицо стало свирепым. И не выполнят, если будут здесь торчать.

Телефонист из щели крикнул:

- Жасмин и Ромашка сейчас начнут.

Снова загремела наша артиллерия. Акимов пошел вперед, бросив на ходу Филькову:

- Подтяни своих солдат за нами. Пойдем за огневым валом.

Метрах в ста впереди лежали солдаты первой роты. Они приподнялись и, согнувшись, пошли вместе с офицерами. Артналет, к сожалению, прекратился очень быстро, минут через семь, - то ли снарядов мало, то ли распоряжение было отдано не так. Акимов выругался. Упрямо стоя во весь рост, несмотря на то что кругом начали посвистывать пули, он вдруг побелел,



поднял вверх руку, сжатую в кулак, и крикнул громко, так, как, вероятно, кричат моряки во время бури:

- Вперед, товарищи! За нашу родину! - И неожиданно для всех и для себя самого добавил старинную, вычитанную из книги фразу: - Не опозорьте русское оружие перед лицом неприятеля.

- Ура-а!.. - раздался крик, и все ринулись вперед, стреляя на ходу, захлебываясь, что-то бормоча, оскользаясь, падая, подымаясь, как бы во власти мощного призыва, который все еще звенел в ушах. Сбоку и сзади подбадривающе постукивали пулеметы. Полетели гранаты. Потом все стихло. Майборода, прыгнув в траншею на немца, схватил его за лицо и начал остервенело тыкать затылком в грязь. Потом он опомнился и осмотрелся. Траншея была полна наших солдат. Поспешно устанавливали пулеметы и противотанковые ружья. Акимов, сидя на корточках, говорил по телефону, крича, отчаянно ругаясь и почти не слушая, что ему отвечают.

- Огня! - кричал Акимов. - Боеприпасы тащите сюда немедленно. Побольше гранат и снаряженных дисков. Спице там, сволочи? Вот я вернусь, я вам покажу, сукиным детям! Артиллерийских командиров сюда гоните, отсюда лучше видно!

Он встал и сказал Орешкину:

- Так держать! Понятно? - Он был без фуражки, ее сбило пулей. Он продолжал говорить: - Твой НП теперь будет здесь, в траншее, а мой - вон там, в кустарнике, где ты сидел и ухмылялся. - Осмотревшись, он устало улыбнулся: - Хорошо оборудовали траншеи. Немец порядок любит.

Действительно, траншея была сделана хорошо, даже красиво. Вся обшитая досками, она шла правильными зигзагами. Ниши для спанья и те были устланы досками и соломенными матами. Повсюду валялись масленки из оранжевой пластмассы - остатки недоеденного немецкого завтрака. Здесь же лежали и убитые немцы и наши рядом. В воздухе стоял странный, единственный на свете запах захваченной вражеской траншеи. Очень чужой запах.

Акимов пошел по траншеям, перебрасываясь с солдатами полушуточными-полусерьезными словечками:

- Ну, вот мы и добрались до приличного жилья. Сухо и не дует. Держитесь здесь, смотрите, покрепче. Если нас выбьют обратно в болото и грязь - грош нам цена.

Вдруг он умолк. Он услышал поблизости женский голосок, разговаривающий по-немецки. Аничка, усевшись на ящике из-под патронов, с блокнотом в руках, допрашивала немецкого пленного.

- Вы почему здесь? - спросил Акимов.

Она подняла на него глаза и ответила, высокомерно вскинув подбородок:

- Дальше немцы не пускают.

Кругом сдержанно хихикнули солдаты.

- Нет, без шуток, - загорячился Акимов, покраснев. - Вам тут нечего делать.

- Что ж, - она хладнокровно поднялась и отряхнула шинель, - тогда допросите пленного сами.

- Да, но тут не место для допроса.

- Да, но он ранен и не может двигаться.

Акимов покосился на пленного, махнул рукой и пошел дальше. "Что, съел?" - спросил он себя, не зная, досадовать или смеяться.

Позднее он вместе с Дроздом настоял, чтобы переводчица отправилась с пленным в тыл и находилась с Ремизовым, на старом НП.

Найдя глазами среди солдат Макарычева, он сказал ему с притворной строгостью:

- Вам боевое задание. Возвращайтесь. Будете ужин готовить. Поняли? Выполняйте.

Вместе с пленным, двумя разведчиками и батальонным поваром Аничка отправилась в тыл. Пленный действительно не мог идти самостоятельно - его то несли, то тащили. Когда они уже переправились через ручей, опять заработали немецкие минометы, пришлось лечь плашмя в грязь, кругом рвались мины, и Аничка ужасно боялась, чтобы не убило немца. Но все обошлось. Вскоре они оказались у Ремизова.

Укоризненно качая головой и помогая Аничке счищать грязь с шинели, Ремизов говорил:

- У меня все время душа была неспокойна за вас. Нехорошо все-таки. Вы не сердитесь на меня, но девушкам здесь не место, честное слово. Немцы ведь не знают, что вы писали в институте курсовую работу об их великом поэте Шиллере. Возьмут и убьют. Фашисты ведь, Анна Александровна.

Он собирался уходить вперед, на новый НП за ручьем, но командир полка все еще не разрешал менять НП. Аничку Ремизов настоятельно попросил отправиться в овраг, в землянку с патефоном.

- Там вы и пленного толком допросите, и музыку послушаете, - сказал он ей, опять берясь за телефонную трубку.

Вскоре Аничка с пленным и разведчиками очутилась в батальонном овраге, в том самом, куда пришла этой ночью. Огонь противника ослабел, и они шли не по дну, а по кромке оврага и, так как пленный был тяжелый, вскоре сели передохнуть на окраине разрушенной, сожженной деревни. Здесь они пристроились на обломках избы, возле черного дымохода, рядом с промежуточной телефонной станцией. Аничка решила тут же допросить немца и основные данные допроса передать по здешнему телефону.

Из солдатской книжки пленного явствовало, что он является обер-ефрейтором 78-й штурмовой дивизии Гансом Кюле из Ганновера.

Маленькое число "78" представляло собой факт большой важности. Этой дивизии раньше тут не было. Свистнув от удивления и удовольствия, Аничка начала допрос.

То, что его допрашивала "фрейлейн" - то есть девушка, да еще красивая и с мелодичным голосом, - подбодрило немецкого ефрейтора: он понял, что расстреливать его не будут. Более того, он не только приободрился, но и слегка обнаглел. Ранее расположенный говорить всю правду, он теперь подумал, что это было бы нехорошо, так сказать, недостойно немецкого солдата. Поэтому он с каждым вопросом отвечал все неопределеннее и наконец просто замолчал. Для того чтобы поднять свой собственный дух и взвинтить себя, он начал мысленно называть русских - и в том числе даже эту юную, приятную и хорошо знающую немецкий язык девушку: "мои мучители", "садисты, издевающиеся над раненым", и т. д.

Наконец Аничка потеряла терпение и, глядя в упор в его бегающие глаза, спросила, будет ли он отвечать на вопросы.

- Хорошо, - медленно сказала Аничка, не получив ответа. - В таком случае я передам вас солдату, который вас проводит в штаб. - Она повернулась к разведчику Бирюкову и подозвала его: - Подойдите сюда, Андрюша.

Бирюков - сама доброта, тихий и молчаливый уралец - подошел и нагнулся над пленным. Лицо Бирюкова - плоское, с раскосыми глазами и красными обветренными скулами, производило на людей, не знавших его, впечатление необычайной свирепости.

Кюле, в ужасе отшатнувшись, сразу же заговорил и рассказал все, что знает.

Весьма довольная своей военной хитростью, Аничка записала показания пленного, передала самое важное из этих показаний начальнику штаба полка по телефону, потом отправила разведчиков с пленным в тыл, а сама пошла обратно к Ремизову. Но не успела она спуститься в овраг, как заговорили на тысячи ладов немецкие пушки и минометы. Вероятно, немцы подтянули сюда артиллерию с других участков.

Аничка еле успела заскочить в землянку Акимова. Овраг содрогался.

В землянке никого не было, и Аничка очень обрадовалась этому. Она закрыла глаза и заткнула себе уши пальцами, прижавшись к стене, оплетенной ивовыми прутьями. Ей было страшно, и она делала то, что делают люди, когда им страшно.

Потом заскрипела дверь, приползли полковые связисты с катушками провода, повар Макарычев и еще какие-то солдаты. Аничка сразу же присела к столу и как ни в чем не бывало стала причесывать свои коротко стриженные волосы, деловито говоря:

- Сильный огонь. Ясно, немцы перебросили на наш участок артиллерийские подкрепления. Видимо, их сильно напугала наша атака. Как там наши - удержат позиции или нет?

- Только бы комбата не убило, - сказал Макарычев. Он был очень бледен.

Продолжая причесываться, Аничка проговорила.

- Посмотреть бы хоть одним глазком, что там делается.

Ей послышался оттенок лицемерия в этих своих словах. И тогда она, превозмогши себя, действительно вышла в овраг и вдоль его западного склона медленно пошла вперед. Вскоре артолет прекратился. Издали слышалась только довольно частая пулеметная дробь. Опять пошел дождь. Пронеслась телега без ездового. Какое-то предчувствие беды закралось в сердце Анички. При этом она думала больше всего об Акимове. Все время боя она находилась подле НП комбата и была свидетельницей всего, что творилось там, слышала все, включая акимовскую ругань, которая почему-то не оскорбляла ее слуха. Было бы ужасно, думала она теперь, если бы он погиб. Ужасно не для нее, разумеется, но для всего батальона и для полка. И для нее в том числе.

Шум боя слабел все больше, потом все утихло. Аничка приближалась к той щели, в конце которой помещался НП. Подойдя ближе, она не узнала местности. Все было перепаханно снарядами. На месте НП зияла воронка. В этой воронке копались люди с лопатами. А на краю ее, на кончике вывороченного бревна, сидел человек без фуражки. Это был Акимов.

Один из копавших вылез из воронки и, постояв немного, бросил лопату. Аничка подошла к нему и узнала Майбороду. Она спросила:

- Что случилось?

- Прямое попадание, - сказал Майборода. - Замполита убило.

Аничка побелела и сжала зубы до боли в ушах. Потом она взглянула на Акимова. Он сидел неподвижно, и по его щекам текли слезы. Аничка задрожала. Она никогда не поверила бы, что этот железный человек, которого она наблюдала сегодня целый день, может плакать. И то, что он может плакать и что он плачет, потрясло ее. Ей хотелось подойти к Акимову и обнять его. Акимов поднял на нее глаза, медленно встал и спросил:

- Вы здесь? - Потом он опустил голову и, указывая рукой на воронку, сказал: - Ничего от человека не осталось. Ничего.

Рядом, в соседней щели, телефонист настойчиво, почти с отчаянием, то понижая, то повышая голос, звал, убеждал, умолял:

- Лилия, Лилия, Лилия, Лилия.

Показалась группа раненых. Один из них, поравнявшись с Акимовым, сказал:

- Прощайте, товарищ капитан. Может, уже не увидимся.

- Вытягов! - воскликнул Акимов. - Ранен?

- Ранен. - Сержант улыбнулся. - Но не очень опасно. - Уходя, он опять обернулся к Акимову и сказал: - Жалко. Вы все на отдых, а я в госпиталь.

Смысл сказанных Вытяговым слов дошел до Акимова спустя полминуты. Он сделал два шага вслед раненым.

- Ты это про что? - спросил он. - Про какой такой отдых?

Вытягов остановился, повернулся к комбату и, хитровато смерив его глазами, сказал:

- Будто не знаете! Это все знают. Ночью вернулись из медсанбата Скопцов с Алешиным. Войска там собралось видимо-невидимо. Нас сменять будут. - Он помолчал, потом повторил: - Прощайте, товарищ капитан. Мы вас никогда не забудем.

Раненые пошли дальше, а Акимов долго смотрел им вслед, потом опустил голову, почему-то развел руками, вздохнул и пошел вперед.

Стемнело быстро, как темнеет осенью. Часто вспыхивали немецкие ракеты - противник боялся ночной атаки. В оврагах и траншеях все угомонилось, улеглись кто где попало. Дождь перестал. А в первом часу ночи все были подняты по тревоге и наконец увидели.

Лязгая оружием, гремя котелками, хлюпая сапогами по глине, подходили свежие части. Хорошо одетые и вооруженные, оглядываясь не очень весело, но и вовсе не грустно, посмеиваясь над унылым видом здешних солдат, но и понимая причину этого унылого вида, нюхая воздух, пахнувший порохом и пожаром, - одним словом, в полном сознании трудности предстоящей жизни, но без всяких ужасов по этому поводу, - пришельцы занимали построенные другими землянки, хлынули во все щели, в том числе и в захваченную сегодня вражескую траншею, что-то делали, мастерили, обживались, хлопотали, переобувались, крякали, вздыхали.

- Счастливо отдохнуть, - напутствовали они беззлобно и безо всякой зависти строившихся и уходивших в ночь здешних солдат.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Поезд, состоявший из теплушек, двигался на восток, и двигался не очень быстро, как и полагается поезду, везущему солдат не на фронт, а от фронта. Солдаты целыми днями сидели и стояли, тесно прижавшись друг к другу, у открытых дверей и наслаждались великим покоем, исходившим от широких серых полей. Стаи птиц улетали на юг. Золотые березки сменялись зелеными елками, а то вдруг у колодца возникала красная мокрая рябина. Впрочем, деревья не так успокоительно и мирно действовали на солдат солдаты досыта насмотрелись на разные деревья, - как зрелище станций, семафоров, стрелок, пакгаузов - всей исправно действующей системы железных дорог. Привыкнув к пешим маршам или передвижениям на машинах, солдаты во время боев хотя и пересекали не раз незаметно для себя пару рельсов, но почти забыли, что на свете есть железная дорога, по которой можно ездить.

Вид тихих деревень и серых полей, звуки паровозных гудков и лязг колес навевали чувство спокойствия, и сны тоже были тихие, мирные. Снились котята, куры, дети - правда, все они почему-то копошились в длинных и мокрых оврагах.

Ночью не спали только дежурные, подкладывая дрова в железные печки. Остальные все спали, даже не спали, а отсыпались. Утром их будил холод: уже наступили утренние заморозки. Спрыгивали с нар, босиком бежали к печке, сладко затягивались горьким махорочным дымом, зевали, обувались, на ближайшей станции бежали с котелками в вагон, где находилась кухня, и, позавтракав без особого аппетита, опять весь день спали или глядели на пробежавшие мимо равнины, жадными ноздрями втягивая в себя чистый и прохладный воздух предзимья.

Куда ехали, никто не знал, и мало кто этим интересовался. Пункт назначения был неизвестен даже командиру дивизии. Военные коменданты больших станций и те знали не более того, что им полагалось знать: следующую большую станцию, куда им надлежит отправить воинский эшелон номер такой-то.

Первый батальон был, в связи с проведенным им изнурительным боем, освобожден от несения наряда по эшелону. Спали по пятнадцати часов в сутки, а капитан Акимов - тот лежал все время на своих нарах, почти не слезая с них. Молчаливый Майборода приносил ему поесть, забирал посуду и не осмеливался заговорить с комбатом, так как тот находился в том изредка нападавшем на него тяжелом и хмуром настроении, при котором разговаривать с ним было опасно.

Акимов лежал наверху, возле окошка, и часами глядел в него, ни звуком не выдавая того, что не спит. В вагоне все соблюдали молчание, и так как это было тягостно, то офицеры батальона и солдаты штаба батальона, ехавшие здесь, старались улизнуть к соседям.

В вагоне оставался один безропотный Майборода, который, дорвавшись наконец до настоящих дров, топил непрерывно, наслаждался одиночеством и время от времени подымал голову кверху, прислушиваясь, не сказал ли что-нибудь и не пошевелился ли комбат.

Наконец однажды, на третьи сутки, Акимов слез и попросил умыться. А умывшись, спросил:

- Корзинкин жив?

- Да.

- А с Файзуллиным что?

- Ранен Файзуллин.

- С кем едем?

- Первый и второй батальон и штаб полка, - ответил Майборода, оживившись, и начал выкладывать новости: - Полк едет двумя эшелонами. Мы задний. Командир полка едет впереди, с третьим батальоном и артиллерией. Конечно, там же и тыловики. На фронт они идут сзади, зато с фронта впереди. В общем, дивизия растянулась эшелонов на десять. Каждый день отправляется эшелон. Я для вас вот на одной станции пива достал. Выпейте, товарищ капитан, а то выдохнется... За деньги, - добавил он, откупоривая бутылки и ухмыляясь. - Давно уже ничего не покупал за деньги.

Акимов молча выпил пиво, которого не пробовал, пожалуй, с начала войны.

Майборода сказал:

- А хорошо жить без денег. Чтобы нам все давали - вот как на фронте: и одежду и хорошее снабжение... Но только без войны.

- Значит, чтоб войны не было, а снабжение чтобы было? - усмехнулся Акимов. - Ну, а с работой как?

- А как же? - возразил Майборода обиженно. - Без работы разве жизнь?

Акимов сказал:

- Что ж, это и есть почти коммунизм. Чтоб войны не было, была бы мирная работа, а снабжение - как на фронте... Да ты, оказывается, убежденный коммунист, сержант Майборода.

- Да, выходит так, - задумчиво произнес Майборода. После некоторого молчания он возобновил рассказ о местных новостях: - К вам приходили, проведать. Инженер полковой и еще этот, как его, птица певчая - чиж или как там его. Дрозд. И с ними переводчица приходила. Спрашивала про ваше самочувствие. И еще пластинку одну просила поставить, да выкинул я эти пластинки во время погрузки. Куда едем, неизвестно. Некоторые говорят - в Москву. Формироваться, конечно.

- Они с нами едут? - спросил Акимов.

- Кто?

- Ну, да вот Дрозд и остальные...

- Да, с нами.

На ближайшей станции Акимов вышел погулять. Он пошел вдоль эшелона. Перрон разрушенной станции был полон гуляющих солдат. Возле киоска стояла группа офицеров, среди которых Акимов сразу же увидел Аничку. Кто-то окликнул Акимова:

- Павел Гордеич! Отоспались наконец?

- Да, - односложно ответил Акимов.

Аничка обернулась к нему и крикнула:

- Идите сюда, Акимов!

Тут же она сама пошла ему навстречу и дружески пожала ему руку. Он смутился, но

посмотрел на нее с жадным любопытством: какая же она на самом деле? Такая ли, какой показалась ему тогда в первый раз?

Она оказалась такой же. В чуть туманном свете дня она представлялась только более земной, менее высокомерной и далекой. В том, как она его встретила и что сама подошла к нему, чувствовалась доброжелательность, но не больше. Или больше? Во всяком случае - в ее поведении ощущалась некоторая властность и понимание своей власти. Несмотря на свою юность, несмотря на то что из-под ее шапки-ушанки выбивалась темно-каштановая прядь волос, падая на белый, без единой морщинки, гладкий, высокий, выпуклый лоб, - несмотря на все это, она вела себя подобно старшей здесь, и ее неожиданная приветливость по отношению к Акимову тоже имела оттенок знающего себе цену благоволения.

Инженер Фирсов удивился:

- Ты все еще не сбрил бороду? Пора, пожалуй, сбросить лишнюю растительность.

- Да, верно, - рассеянно ответил Акимов. - Просто забыл про нее.

- А вы, правда, побрейтесь, - попросила Аничка. - Тут на станции парикмахерская есть. А мы подождем вас.

Он готов был тотчас же исполнить ее желание, но нечто строптивое, злое заставило его ответить ей холодно и враждебно:

- Уж вам-то моя борода не мешает.

Она удивилась, вспыхнула, но, овладев собой, сказала язвительно:

- Грубость украшает вас так же мало, как и борода. - И, пристально посмотрев на него, добавила: - Не надо злиться.

Акимов ничего не ответил и вернулся к себе подавленный. Он сам не понимал, почему так грубо с ней говорил. Потом он понял, что разозлился вот по какой причине: она разговаривала с ним слишком сердечно, и именно это так рассердило его. Он не желал, чтобы она относилась к нему, как ко всем. И еще одно, пожалуй: в ее тоне ему почудилось нечто вроде заигрывания. Если же она заигрывает с ним, хотя они еле знакомы, значит, она может заигрывать с любым еле знакомым человеком. И это наполняло его нехорошим, ревнивым чувством.

"Что греха таить, - думал он, кусая кончик этой самой своей злосчастной бороды, - я влюблен в эту девицу, и так сильно влюблен, что не могу простить ей заигрывания даже с самим собой".

Не было Ремизова - того единственного человека, с которым Акимов мог бы поделиться своими мыслями. Что сказал бы Ремизов?

Лежа на своих нарах, Акимов старался представить себе, что сказал бы Ремизов.

Ремизов сказал бы:

- Друг мой, есть вещи сильнее нас. Но вовсе не значит, что все, что сильнее нас, - плохо. И кроме того, почему ты не допускаешь, что этой милой и прелестной девушке ты просто понравился? Не скромничай. Не такой уж ты скромный, чтобы считать себя недостойным ее любви, скорей напротив. Нет, ты слишком самолюбив, и в этом - причина твоих сомнений. Ты хочешь знать наверняка, что она к тебе равнодушна. Узнав это, ты побежал бы к ней и постарался бы получить над ней власть. Ты бы тогда помыкал ею, сам притворялся бы равнодушным, чтобы заставить ее полюбить тебя еще больше. Я знаю эту игру, где человек

хочет подчинить себе любимого человека, сделать из него раба, при этом, может быть, мучаясь великой жалостью к нему. Голос Ремизова начал бы звучать металлически, и он закончил бы сухо: - И это, учти, пожалуйста, есть пережиток капиталистического сознания, и надо с ним бороться.

Акимов грустно рассмеялся, так похоже это было на то, что сказал бы, будь он жив, капитан Ремизов.

Вечером поезд остановился на станции Рославль, и в вагон к Акимову пришел командир второго батальона капитан Лабзин. Он влез к товарищу на нары и зашептал ему на ухо:

- Павел Гордеевич, прошу тебя, пойдём. Тут недалеко живет одна моя знакомая. Возле самой станции. Мы с ней переписываемся год. Забежим. Поезд тут простоит часа три. Я спрашивал...

"И зачем тебе компания?" - спросил было Акимов, но потом вдруг поднялся, оделся и сказал:

- Ладно.

Они прошли по улочке, застроенной железнодорожными бараками, повернули на другую и остановились возле палисадника с одинокой красной рябиной. Лабзин пошел вперед, в темную прихожую небольшого стандартного дома. Он был слегка взволнован, так как знакомую свою доселе никогда не видел, а только переписывался с ней после того, как получил ее письмо, адресованное "лучшему снайперу воинской части". Письмо это, подобно сотням тысяч других женских писем, было послано на фронт, чтобы подбодрить и утешить солдата, а пожалуй, и для того, чтобы подбодриться и утешиться самой писавшей.

В маленькой комнатке, скупо обставленной самым необходимым, горела свеча. Двух комбатов встретила высокая худощавая женщина лет тридцати, с очень усталым лицом, но с прекрасными русыми волосами, выложенными косами на голове. Эти косы, лежавшие кругом головы, молодили женщину и напоминали о том, что, в сущности говоря, она совсем недавно была просто девчонкой.

Приход двух капитанов, из которых один мог считаться ее знакомым, взволновал женщину. После первых слов Лабзин сразу стал веселым и развязным, вынул бутылку водки и какую-то закуску, которую почему-то называл "закус", что очень коробило Акимова.

- Пригласите подружку, Наташа, - сказал Лабзин. - Посидим, поговорим.

Наташа накинула на плечи темный платок и вышла из комнаты. Лабзин же, поглядывая на Акимова, беспокойно спрашивал:

- Ну как? Ничего? Правда, ничего?

Он всегда робел перед Акимовым и теперь, хотя сам не был ни в коей мере очарован внешностью Наташи - на фотографии она выглядела моложе, хотел бы, чтобы Акимову она понравилась. Его нервировало молчание Акимова, который сидел у столика, подперев рукой большую равнодушную голову.

Минут через десять вернулась Наташа с подругой. Подругу звали Аней, и это задело Акимова. Аня была высокого роста, с большими серыми глазами и бледным лицом.

Сели к столу. Выпили. Исчезла связанность и робость. Лабзин рассказал что-то веселое, при этом все время расхваливая Акимова и уничижая себя.

Акимов говорил мало, но вскоре заметил, что Наташа оказывает ему предпочтение перед Лабзиным, и был несколько сконфужен этим. Она все время обращалась только к нему, а



чаще всего, как и он, молчала. Лабзин тоже вскоре заметил, что Наташе нравится Акимов, но не обиделся. Он занялся Аней и вскоре вместе с ней ушел.

Оставшись с Наташей наедине, Акимов почувствовал себя неловко. Он даже досадовал на себя по этому поводу. Былая моряцкая удаль словно совсем исчезла в нем. "Не уйти ли?" - подумал он, но и уйти не мог. Она сняла нагар со свечи и сказала:

- Темно теперь у нас. Немцы взорвали электростанцию.

Потом она опять под села к нему. Оба были смущены и взволнованы. Он подумал об Аничке с горьким злорадством. "Все, кончено. Ведь все равно все кончено. Вот и прекрасно. Забыл тебя. Больше не буду мучиться. Конец". Он взял руку Наташи в свою. Ее руки были очень горячие. Вся она была горячая, как огонь.

Она еще что-то потом говорила, вздыхала...

Он лежал рядом с ней, почти бездумный. "Вот теперь все будет хорошо", - думал он, рассеянно глядя ее распустившиеся косы, а она тихо твердила:

- Спасибо тебе. Спасибо.

Она благодарила именно за эту рассеянную, добрую ласку, а не за то, что было раньше.

- Я буду очень тосковать по тебе, - сказала она.

И он поверил ей, несмотря на их быстрое и случайное сближение. То, что для него было случайностью, ей казалось уже судьбой. Лицо ее, еле знакомое, казалось ему знакомым и прекрасным. Он уже упрекал себя за то, что отнесся к ней только лишь как к безымянной и безликой отдушине для своих страстей. Он вдруг подумал, что мог бы остаться здесь навсегда и был бы счастлив. Он ощутил в ее объятиях и прочитал в ее широко открытых глазах повесть одинокой жизни. Это была та же война, только в ином обличье.

Недалекий гудок паровоза напомнил ему о том, где он находится, и заставил поспешить.

Она накинула платок и вышла вместе с Акимовым.

Состав стоял темный и безмолвный. Впереди, рассыпая снопы искр, уже поыхивал паровоз.

Они постояли в густой тени станционного здания. Она не имела ни права, ни власти удержать Акимова хоть на минуту и с непритворным отчаянием припала в темноте к его груди, чтобы навеки проститься. А он, глядя ее по голове, не находил в себе ни одной нехорошей мысли, а только жалость и волнение.

2

Возле своего вагона Акимов увидел одинокую фигуру.

- Это вы, товарищ капитан? - послышался голос Майбороды.

- Я. Чего ты не спишь? Иди спать.

- Вас дожидался.

- Ну, вот я здесь.

Майборода влез в вагон, а Акимов остался. Кто-то впереди запел приятным голосом под гитару. Акимову показалось, что он узнал голос Дрозда. Вспомнив о том, что Аничка спрашивала Майбороду о пластинках, Акимов, усмехнувшись, подумал: "На бесптичье и

дрозд соловей". Хотя Дрозд пел не так уж плохо.

Прислушиваясь к пению, Акимов вдруг решил, что Дрозд влюблен в Аничку. Как бы то ни было, далекое и негромкое бренчание гитары наполнило его тоской и ему захотелось пойти туда, где находилась Аничка. Он постарался отбросить прочь эти мысли, постарался думать о Наташе, о ее одинокой судьбе, но уже понял, что встреча с Наташей вовсе не поможет ему успокоиться и выкинуть из головы другое.

В темноте двигались фонарики железнодорожников. Чей-то голос спросил:

- Скоро нас отправят?

- С полчаса постоите, - ответил другой голос. - Там путь занят.

Акимов пошел вдоль состава и наконец поравнялся с полуоткрытой дверью штабного вагона. Гитара уже замолкла. Из вагона доносились негромкие голоса. Акимов постоял, постоял, потом полез в вагон. Люди сидели вокруг печки. Огонь в печке ярко пылал.

- А, товарищ Акимов, - встретил его инженер Фирсов. - Пожалуйста к нашему очагу.

Акимов прислушался. Но нет. Женского голоса не было слышно. Тем не менее он чувствовал, что она здесь, что она где-то тут, рядом, сидит и молчит. Это было ясно из всего поведения людей, хотя бы из их сдержанных разговоров. Он ждал, что кто-нибудь окликнет ее, спросит о чем-то, и тогда можно будет хоть услышать ее голос. Но никто ее не окликал.

Он собрался было отправиться к себе, но поезд тряхнуло, паровоз дал свисток. Тронулись. Конечно, он мог бы спрыгнуть на малом ходу и с легкостью вскочить в свой вагон, но ему не хотелось уходить отсюда, и он воспользовался этим поводом, чтобы не уйти.

Аничка же упорно молчала, сидя в углу на нарах, именно потому, что вошел Акимов. Ей трудно было определить свое чувство к нему, но ей почему-то казалось все время, что она и он имеют от всех некую тайну, никому, кроме них, не известную. Может быть, то, что она видела, как он плачет.

Конечно, он был настоящим героем. Но и остальные люди, сидящие здесь в вагоне, тоже были героями. Дрозд несколько раз ходил по вражеским тылам. Фирсов был опытным и храбрым сапером и тысячу раз рисковал жизнью. И все остальные тоже так. Они разговаривали, вспоминая прошлые бои, размышляя вслух о том, что их ожидает на месте формирования, - одним словом, вели самые обыкновенные разговоры, но она знала, что за этими обыкновенными словами кроется не бедность мысли, а привычка к сдержанности, нежелание и неумение говорить красиво. Каждого из сидящих здесь людей она, несмотря на темноту, видела. Не видела она одного Акимова. Он казался ей неясным, глубоким и непохожим на других. Она не могла понять, в чем дело, пока наконец, усмехнувшись в темноте, не подумала: "Да он мне просто нравится".

Тем не менее она попыталась отдать себе отчет в том, почему он ей нравится. И решила, что ее поразило в нем редкое сочетание физической и нравственной силы. На него можно было положиться, он был одним из тех людей, которые способны быть могучими защитниками от невзгод и горестей жизни. Но разве не ощущала она себя тоже достаточно сильной и способной на многое? Да, ощущала и, чувствуя в себе скрытые силы, равные его собственным, тянулась к нему с тем благородным и бескорыстным самоотречением, какое испытал бы, будь он мыслящим существом, дождь, приближаясь к земле.

Как раз перед тем, как Акимов вошел в вагон, о нем здесь говорили. Все отзывались о нем с похвалой, кроме Дрозда, который почему-то говорил об Акимове с непонятным раздражением. Например, он говорил, что Акимов заносчив, груб и носится со своим морским

прошлым, как "с писаной торбой".

Дрозд так отзывался об Акимове потому, что страстно и ревниво любил Аничку и боялся, что Акимов ей понравится так же, как он нравился всем, в том числе ему, Дрозду.

Капитан Дрозд, будучи хорошим человеком, храбрым и дельным офицером, как бы старался казаться хуже, чем был на самом деле, считая, что разведчик должен вести себя самоуверенно и развязно. Смуглый, как цыган, с блестящими черными глазами, он мог от всякого пустяка зажечься, как спичка. Лишь во время выполнения боевой задачи он становился расчетливым и хладнокровным и в такие моменты очень нравился Аничке. С ней он вначале принял тот залихватский и игривый тон, которым обычно щеголял, но почти сразу же понял, что ошибся. Прежде всего он с некоторым удивлением отметил, что разведчики, люди, прошедшие огонь и воду, при новой переводчице не позволяют себе ни легкомысленных разговоров, ни пошлых намеков. Это заставило его насторожиться. Он стал внимательно приглядываться к переводчице. На него произвела большое впечатление ее отвага, независимость и весьма определенное презрение ко всяким заигрываниям. При всем том ее не покидала женственность, действовавшая на Дрозда с удивительной силой. Когда рядом разрывался снаряд или когда приближались вражеские самолеты, она чуть бледнела и жалобно говорила:

- Ох, как страшно!

Но при этом продолжала делать свое дело так же размеренно и точно, как прежде.

У него сердце замирало от восхищения, когда он слышал эти слова: "Ох, как страшно!" Право же, он иногда чуть ли не мечтал о здоровом арналете, с тем только, чтобы еще разок услышать от нее эти слова. Произнося их, она казалась ему слабее, а потому - ближе, доступнее.

Именно в связи со своим чувством к Аничке Дрозд опасался Акимова. Акимов был силен своей прямоотой. Он никогда не лицемерил и не притворялся, не приспособливался к людям. Напротив, люди приспособливались к нему.

Он был как будто весь на ладони, этот Акимов, и все-таки было в нем много тайного, сложного. Это был не "рубаха-парень", каким он казался спервоначалу, и прямота его была вовсе не признаком элементарности, а свойством характера, который не желает связывать себя двуличием.

Дрозд на первый взгляд был таким же "рубахой-парнем", говорившим в глаза людям то, что думал о них. Но это только казалось, и сам Дрозд знал это лучше всех. На самом же деле он беспрестанно шел на уступки. Прямота его была не совсем естественной, он сам себя понуждал быть прямым, но это было ему трудно. Он, напротив, любил быть приятным людям, нравиться им и вследствие этого часто кривил душой. Поэтому он втайне считал себя человеком заурядным, "дипломатом", и сам мучился этими своими качествами.

Акимов был прирожденным вожаком, руководителем, Дрозд же хотел быть вожаком, мечтал об этом, но был еще для этого слаб, подвержен припадкам лицемерия и припадкам грубости, не имел, одним словом, определенной линии.

Что касается Анички, то Дрозд вовсе не заметил ничего похожего на особое отношение ее к Акимову или Акимова - к ней. Но, считая Акимова выше себя, а Аничку - достойной самого лучшего, он боялся сближения их именно потому, что считал их подходящими друг для друга.

Теперь, сидя в темной теплушке и оживленно беседуя с остальными офицерами, Дрозд все время прислушивался к сидевшим молча Акимову и Аничке, и ему казалось, что их молчание

означает некую связывающую их невидимую нить. И своим оживлением, шутками и остротами он как бы тщился порвать эту нить и чувствовал, что не может. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из них заговорил, но оба молчали. В конце концов все это было настолько неуловимо, что, может, и нити-то никакой не было, а все одна мнительность, иногда думал Дрозд.

Но он не ошибался, нить эта существовала.

Наконец Акимов заговорил.

- Когда я был маленьким, - сказал он, - я мечтал ехать с солдатами в эшелоне. Мне казалось, что нет ничего веселее, чем быть солдатом и ехать в эшелоне.

"Нет, не может плохой человек так говорить", - думала Аничка, прислушиваясь не столько к словам, сколько к голосу Акимова.

- А вот теперь, - продолжал Акимов, - мне вовсе не весело. Все боюсь, как бы кто из солдат не отстал или не выпил лишнего. Вообще в армии лучше всего быть рядовым. Рядовой, как бы ни было ему трудно, все-таки как у Христа за пазухой. Может, оно и неприлично капитану хотеть вернуться в первоначальное состояние, но, честное слово, иногда хочется ни о чем не думать и ни за кого, кроме себя, не отвечать.

Акимов, разговаривая тем добрым, дружелюбным тоном, какой был ему свойствен в нормальное время, удивлялся, как может он говорить о таких обычных вещах после того, что было час назад в том маленьком стандартном домике на станции. "Как нехорошо, - подумал он, - что человек способен скрывать свои некрасивые тайны..."

Им овладел внезапный жгучий стыд, и он подумал, что самое лучшее вовсе не иметь некрасивых тайн, хотя это очень трудно.

Кто-то спросил:

- Когда вы на днях подымали людей в атаку, о чем вы думали?

Акимов сказал:

- Не помню.

- Страшно подымать людей в атаку, - проговорил Гусаров. - Боязно, что не подымутся.

Акимов возразил:

- Нет, у меня этого не бывало. Об этом просто нельзя думать. Если будешь думать об этом, солдаты и в самом деле не подымутся, они почувствуют твое сомнение, - и тогда пропала атака. Ты должен быть уверен, что подымутся все как один. А для этого надо их поднять в самый правильный момент. Иначе будет чистое донкихотство. Как в политике: мало дать правильный лозунг, надо дать его вовремя.

Дрозд в это время думал: "Красиво говорит. Как лектор политотдела. Красуется. Мыслитель, так сказать".

- Об этом мне часто говорил Ремизов, - добавил Акимов, помолчав.

"Вовремя скромно перенес на Ремизова, - мрачно комментировал про себя Дрозд. - Понял, что немножко скромности не помешает. Хитрый, черт".

Гусаров стал рассказывать случай, приключившийся будто бы в городе Рыбинске:

приехавший домой по дороге из госпиталя некий фронтовик застал у жены другого и застрелил жену. Трибунал якобы оправдал убийцу, признав, что он прав.

Почти все в вагоне согласились с этим решением, один только Акимов произнес глухим голосом:

- А сам небось в госпитале и на фронте никому проходу не давал.

Начался спор на тему о нравственности оставшихся в тылу жен. Дрозд рьяно спорил с Акимовым, хотя не желал спорить, понимая, что Аничка, все так же сидевшая молча, в этом вопросе не может не быть на стороне его противника. Все больше злясь, он думал: "Защищает женщин, чтобы ей понравиться. Дескать, я хороший, я женщин уважаю..."

Кто-то окликнул Аничку:

- Анна Александровна, а вы как думаете?

Но Аничка ничего не ответила, решив притвориться спящей. Слушая Акимова, она вдруг ужаснулась при мысли, что он может выбрать себе какую-нибудь недостойную его подругу жизни. И при мысли об этом она заранее жалела его странной, острой и внешне ничем не оправданной жалостью.

3

На следующий день, рано утром, поезд остановился на полустанке, и Акимов, которому не спалось, вышел погулять.

Весь эшелон еще спал, и только несколько солдат - из тех, что постарше - вылезли из вагонов и, покуривая, уселись на травянистую насыпь.

К Акимову подошел капитан Лабзин и тут же начал рассказывать об окончании своего вчерашнего приключения. Оно не увенчалось успехом, женщина оказалась строгих правил, но Лабзин, бессмысленного тщеславия ради, изложил Акимову все дело так, словно успех был полный. Акимову было неприятно и совестно слушать все это, и он отрезал:

- Ладно. Что было, то было, и рассусоливать тут нечего. Одинокие женщины. Жаль их, и все.

Паровоз дал гудок. Лабзин ушел к себе, солдаты бросились к вагонам, и поезд тронулся. Акимов шел рядом со своим вагоном, ожидая, чтобы влезли солдаты.

- Быстрее, - поторапливал он их. Поезд прибавил ходу. Акимов уже ухватился за дверную щеколду, чтобы вспрыгнуть, и вдруг увидел Аничку, которая бежала от станции к поезду. Она держала в руках солдатский котелок, из которого по земле расплескивалось молоко. Она была без шинели, в зеленом форменном платье с узенькими погонами. Бежала она легко и быстро, ее длинные, стройные ноги, обутые не в сапоги, а в маленькие закрытые туфли, так и мелькали.

Акимов выпустил из рук щеколду и встал, наблюдая, что будет дальше, сумеет ли Аничка догнать поезд. И, поняв, что не сумеет, повернулся к ней. Он чуял спиной, как мимо пробегают вагон за вагоном все быстрее, и из каждого вагона ему кричали:

- Товарищ капитан, давайте прыгайте сюда!

Но он не оборачивался. Он смотрел, как Аничка, тоже наконец поняв, что поезда ей не догнать, замедлила шаг, потом совсем остановилась. При этом она заткнула себе рот ладошкой, как бы для того, чтобы не кричать, с видом такого комического отчаяния, что Акимов улыбнулся. Она вначале не заметила Акимова и увидела его только тогда, когда

поезд пролетел, а он остался один на фоне желтой полосы несжатой ржи.

Поезд отгромыхал, стало совсем тихо, и они медленно пошли навстречу друг другу.

- Вы тоже отстали? - спросила она.

- Да.

- Очень рада. Вдвоем веселее. Не знаете, когда пройдет следующий эшелон?

- Точно не знаю. Говорят, эшелоны отправлялись каждые сутки.

- Значит, только завтра уедем? Куда же мы денемся?

- На станции будем.

- У меня нет ни копейки денег. А у вас?

- Тоже нет.

Она весело рассмеялась, потом вдруг стала очень серьезной и спросила:

- Вы из-за меня остались?

- Да.

Помолчали. Он попытался объяснить свои поступок:

- Я подумал: как же вы будете тут совсем одна...

- И вам стало меня жалко?

Он ответил:

- Жалко - не то слово. Просто я подумал, что нехорошо оставлять вас одну.

- Я не подозревала, что вы такой добрый, - сказала она без всякой иронии. - Большое вам спасибо. Действительно, вдвоем лучше.

Он сказал:

- Постараемся уехать сегодня, может быть, подвернется какой-нибудь поезд, и мы догоним свой эшелон.

Она испугалась:

- А ведь верно! Вам может влететь. Вы же оставили свой батальон. И все из-за этого молока. Вдруг захотелось молока. - Она посмотрела на свой котелок и серьезно предложила! - Не хотите молока?

Он рассмеялся, она вслед за ним. Потом оба разом смутились. Чтобы скрыть смущение, огляделись. Вокруг расстилались ржаные поля, кое-где не сжатые. Прямо перед ними тропинка во ржи вела в березовую рощу, полную шелеста и вздохов ветра. Маленький полустанок - кирпичный домик с балкончиком и надписью "блок-пост" на нем - стоял окруженный старыми деревьями. Рядом на скамейке сидела очень старая старуха с двумя бутылками молока - виновница всей истории.

Прежде всего они отправились на полустанок и узнали у начальника, когда ожидается ближайший поезд, а так как времени было много, пошли гулять.

Они углубились в ту самую березовую рощу. Роща была устлана ковром из желтых листьев. Желтая листва сохранилась еще и на деревьях, и все было очень красиво. Они вдыхали полной грудью пряный аромат осени. Да, стояла золотая осень, и вообще оказалось, что все в мире осталось на своих местах: в помещении станции больно кусались осенние мухи, стаи ворон то опускались на поле, то с громкими криками взмывали вверх и сплошь покрывали старые деревья возле станции, жужжали пчелы, вылетевшие за последним осенним взятком. Все эти картины нормальной жизни казались Акимову и Аничке чем-то совершенно новым, и они сами чувствовали себя новыми.

Оба молчали, медленно гуляя по роще, и с каким-то особым удовольствием загребали ногами нежную толщу осенней листвы. Акимову было неловко, что он молчит, теряя, как ему казалось, драгоценное время, когда следовало бы если не объяснить, то по крайней мере поправиться, быть занимательным, интересным. Он все придумывал, что сказать, никак не мог придумать ничего хорошего и упрекал себя, иронизируя по собственному адресу: "Трудное дело, Павел Гордеич, любовь крутить, это тебе не воевать, тут сноровка нужна".

Он даже сам не представлял себе, как умно делает, что молчит: Аничке нравилось, что он молчит. Ей было бы невыносимо слышать от него пустые слова.

Он краешком глаза смотрел на ее узкую руку с длинными пальчиками, на которых ногти были выстрижены до самой кожи, как у маленьких детей. Рука ее рассеянно била длинным прутиком по белым стволам берез. В другой руке покачивался котелок. Конечно, следовало бы, учтивости ради, взять этот котелок из ее рук, но Акимов все не решался на такого рода галантность и не без юмора думал о том, что как мужчина должен был бы взять у женщины лишнюю ношу, но как капитану негоже ему обхаживать лейтенанта.

Он думал все время о ней, и как-то странно думал: у него в голове не вмещалось, что та, о которой он думает, и та, что идет рядом с ним, - один и тот же человек. Та, о которой он думал непрерывно все последние дни, была очень далеко и не могла быть возле него, а та, что шла здесь, была совсем близко, рядом. Эту он мог вот сейчас взять за руку, с ней он мог запросто разговаривать, а та находилась как бы в заоблачных сферах, царила в его душе. Может быть, близость любимого человека этим именно и прекрасна, что возлюбленная, находящаяся рядом с тобой, все равно что птица, которая добровольно спустилась к тебе на руку, но настоящее место которой - вверху, очень далеко от тебя.

Акимов был счастлив, и Аничка чувствовала это. Того, что Акимов отстал от поезда ради нее, было бы недостаточно для такого суждения: это просто хороший поступок, и его мог совершить любой знающий ее офицер или солдат, но тут было важно то обстоятельство, что это сделал именно Акимов. Аничка чувствовала, что он мог сделать это только всерьез, только в исключительном случае, и не такой он человек, чтобы сделать нечто подобное из простой предупредительности.

Она время от времени взглядывала на Акимова, одна рука которого загорелая, большая - рассеянно теребила пуговицу на кармане гимнастерки.

Ее рука с прутиком и его рука на гимнастерке были почти совсем рядом. И, глядя на руку Анички и на свою, Акимов подумал, что обе руки что-то ему напоминают, но он не мог вспомнить, что именно. Потом вспомнил: узкий, изящный листок ивы рядом с большим кленовым листом.

Они взглянули друг другу в глаза, улыбнулись и хотели что-то сказать, но внезапно откуда-то со стороны станции послышался встревоженный, ищущий голос:

- Товарищ капитан! Товарищ капитан!

- Майборода, - сказал Акимов и вздохнул.

Да, это был Майборода, который, узнав от солдат, что комбат отстал, прыгнул с поезда и побежал обратно. Теперь он вынырнул из-за деревьев и как ни в чем не бывало, с обычным своим хмурым выражением лица, в надетой набекрень шапке-ушанке, подошел к своему командиру, искусно притворившись, что не находит ничего странного в присутствии здесь переводчицы. На его руке висела шинель Акимова.

Все трое пошли обратно на станцию, причем Акимов, слегка смущенный, напустил на себя суровый вид. На станции их ожидал еще один сюрприз: тут были два полковых разведчика, Бирюков и Молчанов, которые, оказывается, тоже покинули эшелон и принесли Аничке ее шинель; капитан Дрозд, разумеется, разрешил им это и очень, как они говорили, волновался за нее.

Итак, их стало пятеро. Они все уселись на скамейке возле станции. Вскоре к ним подсел и начальник станции и еще железнодорожники. Конечно, пошли разговоры о войне, о сроках ее окончания, расспросы, хорошо ли еще дерутся немцы или уже похуже, и скоро ли наконец размахнутся союзники со своим вторым фронтом, будь он неладен.

Скамейку окружила ватага мальчишек, которые молча и очень напряженно прислушивались к разговору и глазели на причудливые маскхалаты разведчиков - те по привычке их так и не скинули, - на ордена Акимова и на ясное, улыбающееся лицо Анички.

4

Первый же поезд, прибывший через три часа, оказался очередным эшелоном дивизии, и к тому же тем самым, в котором следовал штаб дивизии и генерал Мухин. Эшелон этот намного опередил свое расписание и теперь двигался почти впритык к тому, от которого отстали Акимов и Аничка.

Здесь их встретили сердечно, как потерпевших бедствие, накормили и устроили в один из вагонов.

В вагоне пели солдаты. Запевала, смуглый и хитроватый украинец-старшина, возбужденный и наивно гордый собственным своим высоким и довольно сильным тенором, в промежутках между песнями косясь на Аничку, сетовал на отсутствие женских голосов.

- Без ж е н ч и н разве пение? - говорил он с сокрушением.

Аничка посмотрела на Акимова вопросительно, и Акимов кивнул головой. И оттого, что она не просто запела, а попросила у него разрешения петь, у него сразу пересохло в горле, такой она показалась ему в этот момент близкой и с незапамятных времен своей. Она запела, и старшина, не прекращая пения, одобрительно и восхищенно замотал головой.

А впереди трубил паровоз, и Акимову казалось, что это его любовь, несясь вперед, оглашает притихшую равнину победным трубным звуком.

На ближайшей большой станции Акимов покинул вагон, сказав Аничке, что скоро вернется. Усмехаясь про себя и радуясь, как ребенок, он направился прямо к парикмахерской. Станция, как почти все здесь, в местах, где недавно еще бушевала война, была разрушена, и вместо нее стоял большой дощатый барак. А рядом с ним находилась будка, где помещались почта и парикмахерская.

Поджидая на перроне своей очереди, Акимов увидел медленно прогуливающегося комдива, которого сопровождали штабные офицеры.

Генерал подозвал комбата, пожал ему руку и спросил:

- Когда сдаете батальон?



Узнав, что Головин еще не успел ни о чем сказать Акимову, генерал, очень довольный тем, что может сообщить нечто приятное хорошему человеку, поведал ему об откомандировании во флот и был несколько удивлен молчанием комбата.

- Как вы попали в наш эшелон? - спросил генерал.

- Отстал.

- Ай-ай-ай, нехорошо. Да ладно, все равно им придется от вас отвыкать.

Акимов на это ничего не ответил, и генералу почему-то опять стало не по себе от напряженного молчания комбата.

Кивнув, генерал ушел дальше, а Акимов вернулся к парикмахерской. Он тут постоял, дожидаясь своей очереди, но, когда очередь подошла, он непонимающими глазами взглянул на лейтенанта, сказавшего: "Ваша очередь, товарищ капитан", - потом посмотрел на парикмахершу в белом халате, потрогал свою бороду, сказал: "Нет, не надо", - и, к общему удивлению, ушел.

У вагона, где находилась Аничка, он постоял еще несколько минут и поднялся в вагон только тогда, когда поезд уже трогался. Он сел на свое место, но на Аничку не смотрел, а только молча покуривал.

Заметив это, Аничка тоже помрачнела. Впрочем, ее угрюмость продолжалась недолго, вскоре она просто как бы перестала замечать Акимова, пересела поближе к солдатам, начала им рассказывать интересные истории о немецких пленных, смешные анекдоты, в которых особенно доставалось Гитлеру и Геббельсу, а также разные случаи из жизни разведчиков. Об Акимове она, по-видимому, совсем забыла и с искусной жестокостью всячески подчеркивала это. Солдаты глядели на нее с обожанием. Майборода и тот покинул молчаливого Акимова и подсел поближе к ней.

Вечерело. Над темной равниной разносились тоскливые гудки паровоза. Раскаты хохота, то и дело раздававшиеся в вагоне, ожесточали душу Акимова, Он хотел скорее уйти отсюда и только ждал первой остановки, чтобы отправиться к знакомым офицерам в другой вагон.

Но на следующей станции оказалось, что поезд догнал следовавший ранее эшелон. Эшелоны встали друг подле друга. Акимов, выйдя на перрон, услышал в темноте знакомые голоса Орешкина, Бельского к других людей из его батальона. Тогда он кликнул Майбороду, сказав громко, чтобы Аничка слышала:

- Вот мы и догнали своих. До свидания.

Оставшиеся сутки пути он провел в оживленной деятельности: беседовал с солдатами, расспрашивал их о домашних делах, читал им сам за отсутствием замполита газеты, проводил политбеседы в каждом вагоне. Потом он затеял разбор с офицерским составом последнего боя, отмечая правильные и неправильные действия отдельных подразделений и недостатки в вопросах взаимодействия с артиллерией. Он прощался. А оставшись наедине с собой, он старался думать о море, о Новороссийске и Батуми, восстанавливал в памяти флотские команды, сигналы, расположение корабельных и маячных огней, семафорную азбуку и служебные знаки.

Никогда он не казался таким веселым и ласковым, как в это время, и никогда не был внутренне таким глубоко несчастным.

Что касается Майбороды, то он, узнав о предстоящем отъезде капитана, вовсе перестал что-либо делать и целыми часами лежал наверху на нарах лицом вверх. Он огрызался на

всех, в том числе и на самого Акимова. Акимов велел оставить его в покое и сам тоже не тревожил его, только покачивал головой.

Между тем, обогнув Москву, эшелоны поехали по Октябрьской железной дороге. Ночью прибыли наконец в Бологое, оказавшееся станцией выгрузки. Здесь по перрону уже сновали офицеры штаба тыла дивизии и полка. Своих людей ожидал майор Головин. Началась выгрузка. Акимов подошел к Головину, отрапортовал о прибытии и сразу же спросил:

- Кому батальон сдавать, товарищ майор?

Головин сухо ответил:

- Подожди, вот устроимся, тогда решим.

- Да что тут решать? Мне ехать надо.

- Ничего, потерпишь денек, - сердито сказал Головин.

На рассвете погрузились в машины и отправились в сторону от станции по убитой булыжником дороге. На дороге уже стояли указки: "Хозяйство Мухина", "Хозяйство Головина" и разные другие.

Квартиреры встретили первый батальон у въезда в деревню и указали Акимову места, где он должен был расположиться со своими людьми. Здесь уже бродили связисты, наводя телефонную связь. Старшины распределили солдат по избам. Все население высыпало на улицу. Женщины, стоя у изгородей, пристально вглядывались в каждое лицо с обычной в таких случаях тайной мыслью: нет ли тут случайно моего?

В тот же день майор Головин созвал к себе всех офицеров. Офицеры собрались в помещение колхозного клуба, красиво убранного кумачом и еловыми ветками.

Распаренные после бани, хорошо выбритые и довольные, все офицеры были чисто одеты, кое у кого появились даже фуражки мирного времени, с малиновыми околышами, и вынутые со дна чемоданов ярко-желтые новенькие погоны взамен мятых полевых. Сапоги у всех блестели.

Головин оглядел своих людей, удовлетворенно усмехаясь, и сообщил, что на днях начнет прибывать пополнение. Все роты будут доведены до нормального состава. Все имущество и вооружение, включая артиллерию, будет пополнено до штатного количества. С завтрашнего дня нужно начинать занятия по боевой и политической подготовке. Занятия следует проводить строго по расписанию, по часам, как в мирное время. Первый батальон займется оборудованием учебной штурмовой полосы, второй и третий батальоны устройством полигона для стрельб. Тут же роздали новенькие уставы и наставления в красных переплетах, распорядок дня и расписание занятий.

После совещания Акимов задержался и опять спросил у командира полка:

- Кому сдать батальон?

Головин вдруг обозлился:

- Бессердечный ты человек, Акимов, ей-богу! Понятно, ты скорее хочешь попасть во флот. Но хоть бы не показывал при всех своего желания избавиться от нас поскорее. Это же нетактично, честное слово.

- Да нет же, - растерянно проговорил Акимов. - Не в этом дело. Просто надо поскорее, зачем тянуть жилы. Ну, дайте человека, я сдам ему батальон, и дело с концом. - Помолчав, он

добавил: - Всех я вас люблю, как братьев. Все вы мне дорогие и родные, если уж сказать всю правду. Но к чему канитель? Надо отправляться, и все.

Головин, смягченный этой исповедью, сказал:

- Был я сегодня у генерала. Офицеров пока нет. Тебе придется продолжать командовать батальоном до прибытия новых офицеров. Это продлится не больше десяти дней. А потом мы дадим тебе письмо с объяснением, по какой причине ты задержался. Ну, что еще? Представил тебя генерал к ордену Красного Знамени за разведку боем.

Акимов покачал головой:

- Это все хорошо. Но отпусти меня с богом завтра же. Сделай такое одолжение.

Головин только отмахнулся от него.

Все было хорошо до вечера, а вечером Акимову так захотелось увидеть Аничку, что не было никакой возможности сладить с собой. Он решил лечь спать, хотя было очень рано. Впервые за много недель раздевшись, он лег на чистую простыню. В избе, где он обосновался, жили старик и старуха, которые сразу стали называть его "сынок" и всячески старались устроить его получше. Майборде он велел жить в "казарме" - другой избе напротив.

- Отвыкай от меня, - сказал он своему ординарцу.

Итак, он лег в постель, но о сне не могло быть и речи. Им овладела тоска. Он встал, оделся, почитал какой-то устав, снова погасил лампу, посидел у окна, поглядел на темную синеву неба, на ясные звезды и вышел на улицу.

Кругом по причине светомаскировки было темно, но всюду чувствовалось оживление. Лаяли собаки. Пели солдаты. Раздавались женские голоса.

Он опять вошел к себе в избу и затеял бриться. Вытащив из печки чугунок с горячей водой, он развел мыло и вынул из чемодана бритву. Из запечной каморки пришел старик и, наблюдая за капитаном, все приговаривал:

- А не жалко, сынок, бороду брить? Такая роскошная борода, прямо генеральская. В старое время все генералы были бородатые. Даже не видано было, чтобы генерал - и без бороды...

К нему присоединилась и старушка. Она с жалостью смотрела, как Акимов морщится от боли, обдирая бритвой свою густую растительность.

Бабушка сказала:

- Ой, батюшки, да ты, оказывается, совсем молодой вьюноша. А с бородой ты был вроде человек пожилой.

Акимов посмотрел в зеркальце, висевшее рядом с многочисленными стариковскими семейными фотографиями, и ужаснулся, увидев свое безбородое лицо, которое показалось ему до глупости молодым и очень некрасивым. Борода делала лицо продолговатым, благородно удлиненным. А теперь оно казалось голым, подбородок - куцым, расстояние между носом и ртом, лишенное усов, - огромным, а нос, торчащий на этом голом лице, - сиротой без отца, без матери.

- Тем лучше, - сказал Акимов вслух, усмехаясь. - Значит, не влюбится в меня морская царевна и не затащит к себе на дно.

Он снова лег, опять маялся без сна и по-настоящему обрадовался, когда часов в десять

кто-то постучался. Зашел незнакомый старший лейтенант. Оказалось, что он прислан из политотдела на должность заместителя по политчасти взамен Ремизова. Это был молодой, бойкий, крепкий человек. Он устроился рядом с Акимовым на широкой лавке, от души обрадовавшись теплу, так и прущему из большой русской печи.

Акимов отнесся к нему сдержанно: уж слишком был он непохож на Ремизова, чтобы показаться Акимову стоящим замполитом. Но хорошо было и то, что хоть пришел кто-нибудь, с кем полагается говорить, и можно забыть о тянущей из дому тоске.

5

Аничка все эти дни грустила. Она считала, что с Акимовым у нее все кончено, и, как могла, боролась с чувством недоумения и горечи, не покидавшим ее. Она не желала вдумываться в причины его внезапной холодности и грубости там, в поезде. Эти холодность и грубость были либо какой-то неожиданной в таком человеке интеллигентской неуравновешенностью, либо недостойной игрой глупого "сердцееда", думающего, что таким путем можно сильнее подействовать на Аничку.

Но однажды вечером она, будучи дежурной по штабу полка, услышала разговор начальника штаба с кем-то из офицеров о том, что Акимов на днях уезжает, так как его отзывают обратно во флот.

Тут она, сопоставив факты, все поняла.

На следующий день, освободившись от дежурства, Аничка без всяких колебаний сейчас же пошла в соседнюю деревню, где располагался первый батальон. Здесь было пустынно: солдаты находились на тактических занятиях. Дежурный сержант с красной повязкой на рукаве и штыком на поясе прогуливался вдоль улицы. Он указал Аничке избу Акимова, и она отправилась туда.

Возле избы на завалинке сидел седенький старичок и курил трубочку. Рядом с ним свернулся в клубок большой белый кот.

- Капитан дома? - спросила Аничка, поздоровавшись. Для верности она добавила: - Высокий такой, с бородой.

- Высокий, верно, - ответил старичок лукаво, - но насчет бороды не знаю, не видал. Нет на ем никакой бороды. Конечно, борода - трава, скосить можно.

Аничка села рядом со старичком. Он спросил:

- Чем, я извиняюсь, занимается такая барышня в нашей геройской армии?

Узнав, что Аничка переводчица, он был этим очень заинтересован и даже восхищен и начал ее расспрашивать о немцах и о том, когда, по мнению немцев, - он обязательно хотел знать мнение самих немцев, - Германия будет разбита.

В деревню повзводно стали с песнями возвращаться солдаты. Наконец Аничка услышала издали голос Акимова и, вздрогнув, подумала: "Я его люблю". Потом она увидела и самого Акимова. Он шел по улице, очень высокий, окруженный другими офицерами, и о чем-то громко с ними разговаривал, энергично подчеркивая свои слова взмахом правой руки.

Увидев Аничку, Акимов почувствовал, что бледнеет. Он приостановился на минуту и, как это ни глупо, прежде всего подумал о том, как он ей понравится без бороды.

Но Аничка даже не заметила изменения в его внешности. Бегло поздоровавшись с офицерами, она обратилась к Акимову:

- Я узнала, что вы уезжаете от нас. Скажу вам откровенно - мне очень жаль, что вы уезжаете.

Акимов в замешательстве сказал:

- Да?

Офицеры почувствовали себя неловко и ушли.

- Когда вы уезжаете? - спросила Аничка.

- На днях. Как пришлют замену.

- Ага. Ну да. Понятно.

Он сказал глухим голосом:

- Я все хотел с вами повидаться, да не решался. Главное, мне это казалось ненужным, даже, откровенно сказать, вредным делом. Ну, режьте меня, ну, скажу вам всю правду. Совсем не могу без вас жить. Испугавшись, что она обидится и отнесется к его словам так, как всегда, по слухам, относилась к такого рода объяснениям, он тут же стал, как мог, замазывать то, что сказал раньше: - Ну, может, я это слишком сильно сказал. Я, товарищ Белозерова, все старался делать, чтобы ничего такого не было. Тем более что мне надо уезжать. Я очень люблю море и морскую службу. Но люблю я это или не люблю, а ехать надо. Конечно, лучше бы всего этого не было. Не то время. Не обижайтесь, но я жалею, что встретил вас. Нам бы лучше встретиться в мирное время.

Она слушала это странное любовное объяснение с неизъяснимым чувством, и ей казалось, что искренность его была на грани величия.

- Просим чай кушать, - сказал старичок, о котором они совсем забыли.

Вошли в избу. На столе кипел самовар. Бабушка поздоровалась с Аничкой. Сели за стол. Аничка думала о том, как странно он говорил: он говорил только о своих чувствах, даже ни разу не спросив, любит ли она его. Он как бы опасался спрашивать об этом, как бы боялся - но не отказ ее услышать, а наоборот - узнать, что и она его любит. Она воспринимала его боязнь с радостной благодарностью, понимая мотивы его страха и удивляясь силе и яркости этого характера.

Она вскоре ушла, пообещав прийти позднее, вечером. Потом они ходили по полям и спящим деревьям почти до утра. То же самое повторилось и на следующий день и после. Им трудно было расстаться. Близкая разлука и краткость предстоящих часов лишили их отношения первоначальной связанности и скованности. Они уже разговаривали друг с другом так, словно были знакомы сто лет, вместе смеялись над чудачествами каких-то родственников, вместе сожалели о каких-то погибших, известных только одному из них. Домик в Заречной Слободке города Коврова и его обитатели становились такими же близкими Аничке, как большая профессорская квартира в Николо-Песковском переулке в Москве - Акимову.

- Почему вы меня не поцелуете ни разу? - спросила она его однажды, остановившись во время гулянья. - Не мне же первой вас поцеловать.

- Боюсь, - произнес он глухо, потом приблизил свое лицо к ее странно суровому лицу и поцеловал ее.

Побледнев, она сказала:

- Не так уж вы и боитесь.

Всю эту неделю им казалось, что они одни и никого вокруг нет, несмотря на то что окрестность была полна солдат, крестьян и детей.

На седьмой день рано утром, перед тем как Акимов отправился проводить занятия на штурмовую полосу, к нему в избу постучались, и вошел капитан с чемоданчиком в руке. У Акимова екнуло сердце. Так оно и оказалось, - это был капитан Черных, новый офицер, назначенный командиром первого батальона.

На занятия Акимов уже не пошел, познакомил капитана со своими офицерами, солдатами, с батальонным хозяйством и сдал батальон. Черных был спокойным, наблюдательным, сдержанным человеком, с русыми прямыми волосами, все время падавшими на лоб. На его груди красовался орден Александра Невского. Акимову он понравился, и Акимов не без ревнивого чувства заметил и то, что солдатам новый комбат тоже понравился.

"Вот и прекрасно, - думал Акимов, - вот и ехать можно".

Он пошел в соседнюю деревню, в штаб полка. Здесь Головин его поздравил: прибыл приказ о присвоении Акимову звания майора.

- Сдал батальон? - спросил Головин.

- Так точно, сдал.

- Садись, посиди.

Оба сели, помолчали.

- Какое впечатление произвел на тебя Черных? - спросил Головин.

- Отличное. Хороший офицер.

- Сибиряк.

- Да, знаю. - Помолчав, Акимов добавил с усталой улыбкой: - Раньше солдаты гордились: у нас комбат - морячок. Теперь будут хвалиться: у нас комбат сибирячок.

- Да, - улыбнулся и Головин. - Наверно. Если только комбат окажется хорошим.

- Окажется, - сказал Акимов. - Поверь моему глазомеру.

- А не хочется тебе уезжать? - спросил Головин. - Слышал я, у тебя с Белозеровой... Прости меня, конечно... Рассказывали.

- Ну что ж, - спокойно оказал Акимов. - Командиру полка полагается все знать, что у него в полку творится. Ничего плохого не нахожу в этом. Да, уезжать не хочется, - признался он. - Очень я ее люблю.

- Она хорошая.

- Да.

- И красивая.

- Да.

- Она была еще красивей. У нее косы были очень красивые. Длинные. Но она их, как пришла к нам в полк, срезала. Неудобно, видите ли, воевать с косами. Мешают, видите ли. Я, как узнал, что она их срезала, ахнул. Как-то жалко мне стало ее кос. Да уж не полагается

командиру полка проявлять заботу о косах своих подчиненных... Когда поедешь?

- Думаю, завтра.

- Да ты побудь деньков несколько. Флот не убежит, и море не высохнет. Мы тебе бумажку дадим, что задержали.

- Перед смертью не надышишься.

- Это верно.

Помолчав, Головин удивленно и даже слегка завистливо развел руками:

- Не думал я, что ее приручить можно... А ты вот приручил.

- Это не я. Сам не знаю, как это случилось.

Они пожали друг другу руки, и Акимов пошел искать Аничку.

В это время начал падать первый снег, и все было покрыто тонкой, еще слабой, как пух, белой пленкой, в которой явственно различались отдельные снежинки. Снег падал крупными, но хлипкими хлопьями, знаменуя наступление нового времени года. Еще не привыкнув к мысли о том, что он уже не пехотинец, Акимов подумал о необходимости начать лыжную подготовку, получить для солдат теплое белье и валенки.

Аничку он застал во дворе того дома, где разместились полковые разведчики. Здесь выстроились новички, вызвавшие служить в разведке, и капитан Дрозд беседовал с ними, рассказывая разные боевые эпизоды и объясняя, каким храбрым, сметливым, находчивым и политически грамотным должен быть разведчик. Аничка стояла рядом с Дроздом.

Увидев Акимова, она поняла, что что-то произошло, и пошла к нему навстречу. Дрозд внезапно замолчал и объявил:

- На сегодня хватит. Разойдись.

И ушел в избу. Акимов обратил внимание на то, что разведчик осунулся и побледнел. Но, глядя на приближающуюся Аничку, Акимов вдруг остро позавидовал Дрозду, который остается здесь и будет видеть ее ежедневно.

При взгляде на расстроенное лицо Акимова Аничка все поняла и спросила:

- Новый комбат?

- Да.

- Ничего, - сказала она, взяв его за руку. - Будем веселы и спокойны. Что такое для нас каких-нибудь полтора года или год? Правда? Я тебя очень сильно люблю. - Она впервые назвала его на ты. - Тебе недостаточно этого?

Да, ему было этого недостаточно. Унести, увезти ее с собой - этого было бы для него достаточно. Если бы можно было уложить ее в спичечную коробочку и спрятать - вот этого ему было бы достаточно.

Они пошли по полям к его деревне.

Войдя в избу и сняв шинели, они уселись возле печки. Потом она сложила его вещи в чемодан. Потом они снова молча сели к печке. Они не спускали глаз друг с друга. Потом они вместе поели, снова погуляли и снова вернулись в избу. Потом она вышла на улицу,

постояла там у крыльца, а когда вошла обратно, то увидела, что он сидит за столом и его голова тяжело опущена, как тогда, после гибели Ремизова.

Она не стала его тревожить, начала стелить постель. Он услышал шорох и хотел зажечь лампу, потому что уже стемнело. Она не дала ему зажечь свет и сказала:

- Ложись спать. И я у тебя останусь. Не хочу уходить.

Он испугался:

- Не надо. - Но спросил: - Ведь не надо, правда?

Она тихо сказала из темноты:

- Я ничего не боюсь. Мы принадлежим друг другу навсегда. Слышишь?

Слова эти еще за несколько дней до того казались бы ей самой смешными и избитыми, теперь же она произнесла их так проникновенно и с такой силой, словно сама их придумала и они произнесены на этом свете в первый раз.

Он обнял ее, но вместе с тем со страхом подумал, что она слишком легко на это решилась, и эта ее кажущаяся опытность глубоко и больно задела его. Но вот она застонала, заплакала, смертельно затосковала и, не зная, как ему объяснить, сказала сквозь сжатые зубы: "У меня никогда этого не было". И он проклял себя за свое подлое недоверие к ней и испытал приступ такой великой нежности, какой никогда не испытывал. Но, несмотря на свою страсть, он все-таки понимал и чувствовал, что ей нехорошо и неприятно и что она ничего не ощущает, кроме боли и, пожалуй, еще сладости самопожертвования.

Теперь он смотрел на нее с безмерным удивлением и гордостью, думая: "Это она, Аничка. Как это может быть?"

А она, прижимаясь к нему, думала, что нет ничего лучше, чем быть с ним рядом, а то, что люди считают самым важным, - вовсе не самое важное, а самое трудное и непонятное.

Они провели вместе после этой ночи еще целых пять дней. Ему надо было ехать, но он не мог оторваться от нее, как некогда рыцарь Тангейзер - от Венеры в старой немецкой легенде, описанной Гейне и положенной на музыку Вагнером. Найдя это книжное сравнение, Аничка почему-то ужасно обрадовалась, - наверно, потому, что хотя все здесь совершалось не в волшебной горе, а в маленькой бревенчатой избе, но от этого любовь и страсть не становились менее великими.

На шестой день Акимов проснулся очень рано, долго смотрел на лицо спящей Анички, затем ушел и вскоре приехал на машине. Аничка молча оделась. Захватив с собой Майбороду, они отправились к станции. Здесь они остановились, потом Акимов, подумав, велел шоферу ехать в город. Им указали дом, где помещался загс.

- Зайдем сюда? - спросил Акимов. Он был очень доволен этой пришедшей ему в голову мыслью и несколько удивился, услышав слова Анички:

- Разве нам это нужно? - Помолчав и поглядев на маленькую красную вывеску, она добавила: - И название какое-то канцелярское, скучное: запись актов гражданского состояния...

Они вошли в маленькую комнату, чисто и даже нарядно обставленную. У сидевшей здесь немолодой строгой женщины в пенсне Акимов спросил, могут ли военнотруженики, офицеры, зарегистрировать свой брак, на что женщина ответила не без ехидства:

- Могут, если желают.



Записав их, она подняла на новобранцев красноватые, может быть от слез, глаза, поздравила их и пожелала им счастья. Они вышли из тихой комнаты, где за годы войны регистрировали больше смертей, чем браков и рождений, и в торжественном настроении отправились на вокзал. Через час Акимов уехал.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Море

1

В Москве Акимов прямо с вокзала попал в Московский флотский экипаж большой дом, служивший перевалочным пунктом для военных моряков.

Хотя дом этот находился посреди улиц и площадей большого города, окруженного, в свою очередь, бескрайними полями и лесами, бесчисленными городами и селами, но стоило Акимову ступить на порог, как ему уже показалось, что он в море. Поистине это был большой корабль, хотя и накрепко пришвартованный к московской земле. Весь распорядок здесь был корабельный, здесь раздавался свист дудок, слышались флотские команды. Часы - и те здесь были палубные, с поделенным на двадцать четыре часа циферблатом!

Акимову, отвыкшему от моря и флота, показалась немного смешной, но необычайно умилительной та серьезность, с какой здешние обитатели неизменно называли обыкновенный паркетный пол палубой, гранитные лестницы с железными витыми перилами - трапом, столовую - кают-компанией, а окна, выходившие прямо на асфальт московской улицы, - иллюминаторами.

Удивляясь всему, как человек, попавший после дальних странствий на родину, Акимов думал: "Сохрани бог произнести тут слово "веревка" засмеют, не поймут даже, что ты подразумеваешь обыкновенный "конец" или "шкерт".

Сдав старшине в вещевой баталерке "зеленку" - так здесь называли армейское обмундирование - и облачившись в полную морскую форму, включая черную фуражку с "крабом", Акимов окончательно почувствовал себя моряком. Свои ежедневные прогулки по Москве в ожидании назначения на должность он уже сам стал называть, подобно всем обитателям экипажа, "отпуском на берег". Допоздна ходил он по этому бесконечному "берегу" из улицы в улицу, ходил без цели, как бы прощаясь напоследок с сухопутной жизнью. Постоял он однажды и возле Аничкина дома в Николо-Песковском переулке.

Но вот наступил день, когда Акимову вручили назначение. Оно явилось для него полной неожиданностью, потому что он привык к мысли, что флот, куда его пошлют, может быть только Черноморским, а море, где он будет плавать, - только Черным. Назначение же он получил в Северный флот, в Баренцево море, за Полярный круг.

Приехав поездом в Мурманск, Акимов сразу же пошел в порт.

Конечно, все здесь выглядело иначе, чем на юге. Гранитные скалы были покрыты инеем, а среди белых скал чернела вода залива, подернутая туманными испарениями. У берега белел ледяной припай. Над заливом царили синие печальные сумерки полярной ночи. Но все-таки это было море со своим запахом, соленым и пронзительным, это был порт, полный транспортов, военных катеров и рыбных траулеров, с мощными кранами и лебедками, с реющими флагами и быстроходными моторными катерами, носящимися по волнам во всех направлениях.

Оцепенение и грусть, владевшие Акимовым в последнее время, исчезли сами собой, и жизнь снова показалась ему прекрасной, несмотря на расстояние, отделявшее его от Анички.

Энергично проталкиваясь сквозь толпу грузчиков, он отыскал попутный катер, шедший на базу флота. Ступив на борт корабля впервые после более чем двухлетнего перерыва, Акимов с волнением отдал, как полагалось, честь советскому военно-морскому флагу, взвившемуся на гафеле. Катер тронулся. Он ловко скользил между многочисленными судами. Было довольно тепло. Сигнальные мачты береговых постов, створные знаки понемногу пропадали во мгле. Мимо медленно прошел эсминец. Сыграли "захождение", и люди на катере, повернувшись лицом к эсминцу, приложили руки к козырькам. То же самое сделали люди на эсминце. Вскоре гавань скрылась вдали. За кормой бурлила и пенилась серая вода.

По-прежнему кругом царил синий полумрак, и Акимову казалось, что сейчас либо начнет светать, либо начнет темнеть. Но не светало и не темнело.

Вскоре Акимов увидел на берегу мачты радиостанции и расположенные на горе амфитеатром большие дома. Сигнальщик передал на береговой пост свои позывные. Тотчас же на мачте поста появился ответный сигнал "добро" - то есть разрешение на вход в гавань. Медленно раздвинулось боковое ограждение. Глазам открылся обледеневший пирс. Оттуда спустили сходни, по которым все гуськом взобрались наверх.

В штабе флота Акимов получил назначение дублером командира на морской охотник. Как и следовало ожидать, ему, после такого перерыва, не решились доверить самостоятельную должность.

Не тратя времени, Акимов пошел разыскивать свой корабль.

Охотником командовал лейтенант Бадейкин, маленький, невзрачный, кругленький человечек с преждевременной лысиной, офицер из старшин-сверхсрочников. Узнав, зачем к нему пришел этот огромный широкоплечий капитан третьего ранга, Бадейкин, по-видимому, очень сконфузился. Рядом с Акимовым он выглядел как толстый и робкий мальчик.

Он познакомил Акимова с катером и повел его на мостик. Тут он представил Акимову своего помощника - младшего лейтенанта Климашина и боцмана - старшину первой статьи Жигало. Этому Жигало было не более тридцати лет, но, чтобы походить на настоящего, "классического" боцмана, он отпустил себе рыжие моржовые усы, ходил медленно и глядел на мир своими светлыми, почти белыми глазами спокойно и по-стариковски снисходительно.

- Где вы устроились? - спросил Бадейкин у Акимова.

- Пока что оставил чемодан в штабе. А вы где живете?

В ответ на это Бадейкин пробормотал что-то нечленораздельное, из чего Акимов сделал вывод, что "коротышка" не очень гостеприимен.

Он стал рассказывать Акимову про боевой путь своего корабля. Морской охотник прошел 27 тысяч миль (то есть пятьдесят тысяч километров), отконвоировал 96 транспортов, сбил три вражеских самолета, потопил одну подводную лодку противника, провел 16 десантных операций. Ему было присвоено звание гвардейского.

Рассказывая, Бадейкин стоял навтыяжку, как будто докладывал начальству, и Акимов, чувствуя смущение лейтенанта и желая рассеять неловкость, сказал напрямик и не без досады:

- Слушайте, Бадейкин. Вы на мои погоны не обращайте внимания. Я ваш ученик. Вы мой учитель. Рост и звание тут не играют никакой роли. Договорились, что ли?

- Есть, - выпалил Бадейкин, по-прежнему держа руки по швам.

Акимов в ответ расхохотался, и Бадейкин - вслед за ним тоже. И когда Бадейкин засмеялся, его невыразительное плоское лицо стало таким приятным, хитрым и осмысленным, что Акимов сразу понял, почему он послан под начало именно к этому неказистому человеку, и даже начал подозревать, что преувеличенное уважение Бадейкина к нему и его званию - только лукавая маска, "на всякий случай", очень умного и бывалого человека.

Вытирая платком слезы, выступившие у него на глазах от смеха, Бадейкин спросил:

- Пойдете с нами на операцию или отдохнете денька два?

- Я уже две недели как отдыхаю, - сказал Акимов. - Пойду с вами. И вообще - не спрашивайте, а приказывайте.

На кораблике шла обычная работа. Одни матросы скалывали лед с палубы, другие осматривали и проворачивали механизмы. Внизу, под водой, слышался стук: это водолазы осматривали подводную часть судна. По всему катеру приятно звенели звоночки, звякал телеграф, из радиорубки слышалась музыка. Боцман Жигало, медленно двигаясь по палубе, закреплял все по-походному от форштевня до кормы. Он же был парторгом и на ходу договаривался с матросами о заметках для боевого листка.

Наблюдая всю эту обыкновенную корабельную суету, Акимов ощутил внезапный внутренний подъем и подумал, что хорошо сделал, сразу же согласившись на первую предложенную ему должность.

- Вот и прекрасно, и лучше быть не может, - сказал он вдруг, к некоторому удивлению Бадейкина. - Теперь скажите номер вашей почты. Мне надоело жить без адреса.

Он тут же написал несколько слов Аничке, но отослать письмо не успел. К сходням подошла группа людей, увидев которых Бадейкин заторопился и сказал:

- Скоро отправимся.

Это были разведчики, которых надлежало высадить в тылу у немцев. Вооруженные автоматами, гранатами и финскими ножами, они молча гуськом прошли на палубу и уселись плотной кучкой у рубки. Командир разведчиков, очень бледный, с красным шрамом на лбу, поднялся на мостик.

- Старший лейтенант Летягин, - представил его Бадейкин Акимову.

Матросы знали всех разведчиков по имени и громко здоровались с ними, сопровождая крепкие рукопожатия дружелюбными возгласами:

- Здорово, Костя!

- Как живешь, Петруха?

- Давно не видались.

- Уже из госпиталя?

Вот наконец отдали швартовы, Бадейкин произнес слова команды. Сердце Акимова застучало. Кораблик вздрогнул, пошел, развернулся и двинулся вперед, к выходу в залив, в открытое море.

Открытое море! То было серое, неприветливое море - Студеное море, как оно называлось на русских картах времен Ивана Грозного, - но у Акимова взыграло сердце при виде этого безграничного водного пространства, при виде гор соленой воды, катящихся одна за другой, догоняющих одна другую, проваливающихся вниз, чтобы, собравшись с новыми силами, опять вознестись в вышину.

Акимов опять, как некогда, испытал эту великую, немного мальчишескую гордость стояния на командирском мостике с подставленной всем ветрам грудью. Да, тут наглядней, чем где бы то ни было на свете, ощущалось, что такое значит движение вперед вопреки препятствиям.

Рядом с ним стоял рулевой, старшина 2-й статьи Кашеваров, такой же огромный, рослый детина, как сам Акимов. При взгляде на его молодое сосредоточенное лицо Акимов вдруг как бы увидел себя самого в ранней молодости, в 1936 году, когда он служил рулевым на Черном море. Это внезапное видение сделало его немножко сентиментальным, и он думал, косясь на Кашеварова: "Сколько же тебе еще предстоит радостей и горя, сколько душевных подъемов и падений, как будешь ты счастлив и как несчастен, сколько мыслей пронесется в твоей упрямой голове!"

Акимов пощупал свой карман, где лежало неотправленное письмо Аничке, и глубоко и шумно вздохнул. А вздохнув, тихонько засмеялся, подтрунивая над собой: "Ну и стал же ты вздыхать, дружок! На море так нельзя, здесь ветер и без твоих вздохов довольно свежий".

Ему вдруг стало весело, даже не то что весело, а как-то приятно, и ему показалось, что когда-то, неизвестно когда, он был точно в таком же месте и ощущал и думал то же самое, что ощущает и думает теперь.

Кораблик безжалостно качало. Волны то и дело перекатывались через палубу, и вскоре кругом не осталось ни одного сухого местечка. Вода почти сразу же замерзала, и матросы беспрестанно скалывали лед, который отягощал корабль и грозил лишить его устойчивости. Акимов наблюдал матросов и не мог не заметить, что любое их движение рассчитано, что каждый исполняет свое дело сноровисто и быстро, не дожидаясь указаний. Он заметил и то, что матросы все покинули сухой кубрик, уступив его разведчикам.

Следя за Бадейкиным, Климашиным, Жигало, Кашеваровым и матросами, он все больше преисполнялся уважения к ним, оценив по достоинству порядок, царивший на маленьком суденышке. То, что матросы уступили кубрик разведчикам, причем уступили без приказа, а просто из сочувствия к людям, которым предстоит много холодных, бессонных и опасных часов во вражеском тылу, тоже указывало на высокий боевой дух, спаянность и организованность экипажа морского охотника.

Кораблик, хотя его жестоко бросало, упрямо и даже залихватски шел по заданному курсу.

Волнение Акимова понемногу улеглось. Все показалось ему простым и несложным и было бы похоже на учение в Черном море, если бы не эти синие сумерки, от которых веяло скрытым где-то неподалеку таинственным светом.

Приближался берег - голые гранитные округлые скалы, так называемые "бараньи лбы", образовавшиеся здесь в незапамятные времена четвертичного периода. Они имели столь пустынный и неуютный вид, что Акимов поневоле пожалел разведчиков, которым предстояло высадиться здесь.

Эти скалы так были похожи одна на другую, что казалось невозможным ориентироваться тут. Никаких приметных пунктов, никаких особо выдающихся вершин или ярких пятен, - все одни и те же "бараньи лбы", похожие друг на друга, как родные братья, темные, почти черные, лишенные какой бы то ни было растительности, но, несмотря на это, красивые суровой, грозной красотой.

- Варангер-фьорд, - сказал Бадейкин, показав рукой вперед.

Берега казались очень близкими. Акимов удивлялся, почему Бадейкин не снижает хода.

- Еще далеко, - сказал Бадейкин. - А ведь кажется, что близко, правда? К этому здесь надо привыкнуть. Рефракция.

Отдавая приказания, Бадейкин не забывал - впрочем, с безукоризненным тактом - время от времени объяснять Акимову причину и значение того или иного своего распоряжения. Например, распорядившись погасить свет в кубрике, он сказал, обращаясь как бы к себе самому, но адресуясь, разумеется, к Акимову:

- Это для разведчиков. Чтобы им со свету не было темно.

Бадейкин поглядывал на Акимова и с несколько ревнивым чувством отмечал, что новичок ведет себя спокойно, очень внимательно прислушивается и присматривается к окружающему и мотает себе на ус. "Посмотрим, что будет дальше", - думал про себя Бадейкин не без тайного желания вывести из равновесия приехавшего с сухопутья офицера. Ему хотелось показать пехотному командиру, что и тут житье не сахар и что звания и ордена зарабатываются тут не так, здорово живешь. Впрочем, дело, как назло, пока что шло гладко, и Бадейкин, хотя и был этим весьма доволен, с другой стороны жаждал осложнений.

Старшины и матросы тоже присматривались к Акимову с интересом. Они знали, что он всего лишь дублер, однако его тяжеловатый, пронизательный взгляд, как всегда, действовал на людей подстегавающе, заставлял их хотеть понравиться ему, заслужить его одобрение, Бадейкин чувствовал это и немножко завидовал Акимову - больше всего его крупному росту и уверенному виду.

Берег приближался. То здесь, то там на берегу вспыхивали одиночные огоньки. Может быть, это были немецкие береговые посты, а возможно, норвежские рыбаки занимались тут своим промыслом. Да, как ни странно, эта пустынная страна была Норвегией, и Акимову это обстоятельство показалось из ряда вон выходящим. Ему, черноморцу, Норвегия, естественно, представлялась очень далекой страной, гораздо дальше Италии и даже Африки. А тут - вот она, серая, вспыхивающая редкими огоньками, вся в скалах и фьордах, которых, впрочем, теперь не было видно.

Чем ближе к берегу, тем серьезней становились лица окружающих людей. Каждую минуту на мостике появлялся и снова исчезал молчаливый Летягин. Боцман Жигало застыл у пулемета. Комендоры заняли места возле пушек. Матросы готовили сходни, другие надевали резиновые костюмы. Все делалось быстро, с той привычной стройностью и красотой, по которым безошибочно угадывается большой опыт.

Вдоль берега был виден белый гребень прибоя. Климашин волновался и, проверяя показания лота, озабоченно шептался с Бадейкиным. На ходовом мостике снова выросла бесшумная фигура разведчика Летягина. На этот раз он уже больше в кубрик не спускался, а остался здесь, вглядываясь в берег, уточняя курс корабля по незаметным, только ему одному известным, ориентирам на берегу.

Наконец вышли на траверз места высадки.

- Право руля! - скомандовал Бадейкин. - Вперед самый малый!

Акимов внимательно следил за эволюциями катера. На берегу все было тихо.

Из кубрика поднялись на палубу разведчики и остановились слева от мостика, держась близко друг к другу, словно они состояли из одного куска.

Недалеко от берега неожиданно распространился довольно густой, хотя и низкий туман. Катер вошел в него, и туман покрыл всю палубу, так что сверху, с мостика, люди были видны по пояс, а ниже их закрывало это белесое густое облако. Странно было видеть половинки людей, медленнодвигающиеся по невидимой палубе, словно бы в воздухе. Акимов пристально вглядывался в туман, и ему вдруг почудилось, что, когда туман рассеется, он увидит не гранитные берега с еле заметной неглубокой бухточкой, обрамленной белой пеной прибоя, а маленький ручей и за ручьем поднимающийся вверх отлогий склон с траншеями, ходами сообщения и глинистыми овражками, заполненными хлюпающей пресной водой. И эта странная и неожиданная мысль опять напомнила Акимову Аничку, Ремизова, Головина, Погосьяна, Майбороду - всех людей, таких далеких от моря.

Но когда туман рассеялся так же быстро, как и возник, Акимов снова увидел палубу небольшого катера, серые волны Баренцева моря и маленькую бухточку, окаймленную гранитными скалами.

Акимов сказал Бадейкину почти начальническим тоном:

- Вы будете здесь, а я распоряжусь высадкой.

Он понимал, что надо спешить. Их могли заметить с берега, а это означало бы провал всего дела. К тому же он обратил внимание на то, что матросы с беспокойством поглядывают на небо, видимо, опасаясь вражеской авиации. А катер, как назло, не мог подойти ближе к берегу: прибой угрожал бросить его на камни. Берег был уже метрах в десяти.

Не дожидаясь команды, матросы, державшие сходни, быстро спустились вниз и очутились выше пояса в воде. Конец сходней лежал на их плечах. Снизу, из воды, слышались их нетерпеливые голоса:

- Ну, давайте, давайте...

Разведчики подошли ближе. Они не без содрогания смотрели на довольно широкую полосу студеной пенящейся воды, отделяющей конец сходней от торчащих на берегу больших камней, промежутки между которыми то наполнялись до краев подступающей к берегу белой водой, то опоражнивались дочиста. "Перенести их, что ли?" - подумал Акимов, покосившись на разведчиков, и без дальнейших раздумий, движимый разнообразными чувствами, в которых ему некогда было сейчас разбираться, пошел вперед по сходням. Спрыгнув в ледяную воду и на мгновение зашедшись от пронизывающего холода, он крикнул:

- Летягин!

Он легко поднял Летягина на плечи и пошел к берегу вслед за очередной волной. Высадив Летягина на большой валун, он дождался, пока следующая волна разобьется о камни, и пошел обратно к сходням. Здесь он принял на плечи следующего разведчика и при этом мимоходом отметил, что его примеру последовали еще три матроса. Необычная десантная операция быстро закончилась. Она неожиданно вызвала даже веселое оживление среди матросов, стоящих и идущих по пояс в ледяной воде со своей живой ношей на плечах. Какая-то молодецкая удаля овладела ими, несмотря на стужу. Послышались отрывистые возгласы:

- Держись крепче!

- Осторожно, искупаю!

- Ух, жарко!..

Перенеся последнего разведчика и больно стукнувшись головой о его вещевой мешок со

снаряженными дисками, Акимов взобрался на сходни, с них на палубу. Разведчики уже пропали, исчезли в скалах, словно никогда их и не было. Катер медленно пошел вдоль побережья.

- Бегите в кубрик греться, - сказал Акимову кто-то из матросов.

Он побежал в кубрик и быстро разделся. Здесь еще было темно. Но вот кто-то начал шарить в темноте, проверяя, хорошо ли задраены иллюминаторы, и свет зажегся. Это был сам Бадейкин. Он подал Акимову несколько одеял. Лицо его было серьезно. Он ушел, вернулся обратно с фляжкой водки и снова ушел. Потом снова вернулся.

- Что бы мне такое надеть? - спросил Акимов.

Бадейкин, оказывается, уже подумал об этом. Он принес белье, матросские штаны и резиновые сапоги.

- Налезет ли? - с сомнением спросил Акимов.

Бадейкин ответил:

- Это - нашего рулевого, Кашеварова.

- Тогда налезет, - улыбнулся Акимов.

- Вот вам и первое морское крещение, - сказал Бадейкин.

Акимов поморщился:

- Какое же это морское? Только что мокро.

Он был недоволен собой, считая, что зря полез в воду сам, следовало послать матросов. Он действовал не как командир, а как матрос. Допустим, ему жаль стало разведчиков. Им бы не обсушиться на берегу. Но разве только из-за этого он полез в воду? Не было ли в его поступке желания пофорсить перед Бадейкиным и остальными моряками решительностью пехотного командира? (Странно, что в пехоте он всегда чувствовал себя моряком, а очутившись во флоте, не мог забыть о том, что был пехотинцем).

Да, в его поступке было желание заявить о себе, утвердить себя среди новых товарищей, утвердить себя перед новым для него морем, холодным и суровым морем Баренца.

Он сказал немного сконфуженно:

- Будь я не дублером, а командиром корабля, я бы так не сделал. А дублеру все равно делать нечего, вот я и стал грузчиком.

Бадейкин не улыбнулся, хотя был согласен с замечаниями Акимова на собственный счет.

Снаружи послышался отдаленный звук орудийного выстрела, потом еще один. Бадейкин замер.

- Нас заметили, - сказал он. - Надеюсь, Летягин уже далеко. Пойду на мостик.

Он ушел. Стрельба гремела все чаще. Акимов поднялся наверх. Вспышки орудийных выстрелов показывались на берегу то тут, то там.

- Это с Варде, - сказал Жигало.

Кто-то крикнул:

- Самолеты по корме, пять штук! "Фокке-Вульф сто девяносто"!

Акимов не успел удивиться четкости доклада, как раздался гул колокола - сигнал тревоги, мощный голос "ревуна", и сразу же заработали пушки и пулеметы морского охотника. Неясно было, что началось раньше: доклад наблюдателя, сигналы или стрельба, - они прозвучали почти одновременно. И перед изумленными глазами Акимова произошел кратковременный, как молния, бой между пятью немецкими самолетами и как будто беззащитным маленьким советским корабликом.

Самолеты обладали невероятной скоростью, но казалось, что маленький корабль неуязвим. Подчиняясь следующим одно за другим хриплым отрывистым приказаниям Бадейкина, катер-охотник выделял замысловатейшие фигуры на волнующейся воде. Он то подпрыгивал, то шарахался влево, вправо, то вдруг, заметавшись, начинал как бы пятиться назад. Временами казалось, что он не просто плавает по воде, а извивается, подобно змее, - настолько неожиданными и головоломными были его движения.

Акимов посмотрел на Бадейкина. Маленький командир был неузнаваем. Он превратился в сжатый комочек с нелепо вертящейся во все стороны головкой и, бросая непрерывно хриплые слова, до смешного точно повторял все движения своего собственного корабля, то наклоняясь, то отступая несколько назад, то застывая на месте с перекошенным лицом. Рулевой Кашеваров уже тоже был не человеком, а превратился в штурвал, рулевое колесо, подчинявшееся, как автомат невероятной точности, словам стоящего рядом маленького человечка. Он не глядел ни вверх, ни вниз, ни по сторонам, ни даже вперед, он только слушал и только исполнял.

Кораблик отходил все мористей на водный плес, в открытое море, что несколько удивило Акимова, так как ему казалось, что у береговых скал легче укрыться от самолетов.

Бадейкин, полуобернувшись к Акимову (Акимов изумился самообладанию "коротышки", не забывшего и тут, что имеет ученика), сказал:

- Здесь нам свободней маневрировать.

Самолеты сбросили несколько бомб с разворота, но попали не в катер, а в то место, где он находился полминуты назад. Быстрота - вот что решало дело. И кроме того, - непрерывный зенитный огонь. Оба пулемета мелко дрожали. Бывало, пули попадались трассирующие, и тогда становилось заметно искусство пулеметчиков: несмотря на то что кораблик сильно качало - иногда он плыл почти на боку, - лента трассирующих пуль шла все туда же, вверх, к самолетам, почти не уклоняясь в сторону. Кормовая автоматическая пушка непрерывно стреляла, и, если бы не были видны ползущие к ней и от нее подносчики снарядов, казалось бы, что пушка заряжена снарядами надолго, на месяцы и годы, и вот так она будет изрыгать огонь вечно.

Как ни странно, но не кораблику, а немецким самолетам приходилось туго. Они шныряли вокруг да около, с ревом проносились мимо почти над поверхностью воды, поливая море градом пуль, потом уваливали за скалы и, вновь появляясь из-за них, сбрасывали бомбу или две, но на том месте, где они надеялись настичь кораблик, его уже не было.

Потеряв надежду справиться с морским охотником, самолеты улетели, обиженно ревя. Стало очень тихо. Свист ветра и грозный шум моря звучали теперь как детский лепет. Боцман отошел от пулемета и прислонился к борту. Его рвало.

Тут только Акимов заметил, что все, и он в том числе, блестят от соленой морской воды, превратившейся в ледяную корку. Все на палубе, кроме раскаленных стволов пулеметов и пушек, обледенело, все переливалось белым фосфоресцирующим светом.



- Я пойду вниз, посплю, - сказал Бадейкин.

Акимов отлично заметил удивленные взгляды помощника и рулевого и без труда догадался о том, что Бадейкин ранее отнюдь не имел привычки спать во время плавания и, видимо, просто хочет дать возможность ему, Акимову, самостоятельно покомандовать кораблем.

Оставшись на мостике один, Акимов стал распоряжаться на охотнике. Чувство некоторой неуверенности очень быстро покинуло его, благо никаких осложнений на обратном пути не приключилось. Маленький экипаж катера-охотника беспрекословно и немедленно выполнял все команды, и Акимов радовался этому, хотя сознавал, что это не его заслуга. Но больше всего Акимов радовался тому, что, как выяснилось понемногу, он все знает и прекрасно помнит, что все корабельные команды, писанные и неписанные законы здешнего быта, взаимодействие частей корабля вовсе не забыты им, как ему представлялось раньше, а все это, вплоть до мелочей, тихо и разом поднялось из глубины его памяти так, как иногда бывает с песней, забытой, казалось, до основания. Поняв это, Акимов ликовал про себя, но решил помалкивать, чтобы не прослыть слишком самоуверенным человеком, а между тем хорошо изучить местные условия.

Показались створные знаки, радиомачты и дома на горе. Катер ошвартовался у пирса. Бадейкин поднялся наверх и сошел на берег, чтобы доложить в штабе дивизиона о ходе операции. Прозвучала дудка дежурного, сзывающего матросов на вечернюю поверку. Акимов смотрел, как матросы выстраиваются вдоль борта. Он с удовольствием разглядывал их. Здесь было много открытых, приятных матросских лиц, и Акимов смотрел на них, испытывая некоторую зависть к Бадейкину, как человек, лишенный семьи, к отцу большого, хорошо устроенного дружного семейства.

Боцман Жигало медленно ходил по палубе, приводя хозяйство в полный порядок. Все понемногу успокаивалось, входило в обычную колею.

Вернувшись, Бадейкин поднялся на мостик и спросил у Акимова, как будто бы забыв, что однажды уже задавал такой вопрос:

- Где вы устроились?

- Чемодан свой я пока оставил в штабе, - ответил Акимов тоже так, словно раньше об этом разговора не было.

Бадейкин, помолчав, сказал:

- А может, пойдете ко мне? Со мной жена. Живу по-семейному.

Акимов пошел вместе с Бадейкиным, и, миновав большие дома, они вскоре очутились у одного из маленьких домиков на горе. Комната лейтенанта была жарко натоплена. На окошках стояли горшки с разными комнатными растениями, в одном горшке рос даже далекий южный гость - кактус.

- У нас и парничок есть, - сказал Бадейкин. - Конечно, здесь все растет не очень быстро.

Вошла смуглая женщина в пестром халате.

- Моя жена, - сказал Бадейкин и улыбнулся.

Она дружелюбно поздоровалась с Акимовым и ушла за ужином.

- Я сам северянин, коренной мурманец, - разговорился Бадейкин. Потомственный рыбак. А Нина - южанка, грузинка. - Он понизил голос. Тоскует по югу. На флоте, - продолжал он уже обыкновенным голосом, - я со времени его основания. Я Сталина здесь видал десять лет

назад, когда он приезжал с Кировым и Ворошиловым и они велели тут флот создавать. Я еще тогда плавал на каботажном судне. Еще Нины не было в Мурманске. А вы женаты?

- Нет, - механически ответил Акимов, потом, рассмеявшись, поправился: - То есть женат, собственно говоря. Представьте себе, забыл. Моя... - Слово "жена" звучало слишком непривычно, и он не решился произнести его, - ...моя Аничка в армии. Мы были вместе недолго. Вот я и не привык.

Тихая жизнь в квартире Бадейкина была так разительно не похожа на то, что происходило полчаса, час тому назад! Нина Вахтанговна бесшумно подавала ужин. От нее пахло туалетным мылом и лекарствами - она работала медсестрой в госпитале. Сам Бадейкин сменил китель на какой-то старомодный архалук с кисточками, а сапоги - на шлепанцы. По его лицу расплылось выражение необычайного довольства.

Акимов во время еды и после, перелистывая "Лоцию Баренцева моря", с интересом наблюдал Бадейкина и Нину Вахтанговну. Бадейкин называл ее Нинусей, а она его - Лешенькой. А Акимов ловил себя на том, что это не только не кажется ему смешным, как казалось бы еще два месяца назад, но даже умиляло его, и что сам он был бы не прочь вот так жить с Аничкой; и что если жена будет называть его на людях Павликом или даже Пашенькой, то это не будет ему казаться отвратительным, как казалось бы каких-нибудь два месяца назад, до знакомства с Аничкой.

Продолжая думать об этом, он потом решил, что отнесся бы, вероятно, иначе ко всей этой мирной, почти мещанской картинке, если бы не видел Бадейкина на мостике в бою с вражескими самолетами, если бы не помнил его фигуру во время боя - вертящуюся, как петрушка, во все стороны, но вовсе не смешную, а необычайно яркую, гневную, почти грозную, и что стоит случиться теперь тревоге, как этот маленький человечек сбросит архалук и шлепанцы и снова станет тем, чем был несколько часов назад.

На следующий день - если можно было назвать днем все тот же долгий синий сумрак - Акимов вместе с Бадейкиным отправился на катер.

Моряцкий поселок, расположенный на скалах, выглядел очень оживленным и даже веселым. Из громкоговорителей гремела музыка. В сиреневых расселинах скал, через которые были проложены мостики и лесенки, играли дети. Да, здесь были даже дети, и вообще все кругом имело вид обжитой, благополучный и благоустроенный. И только там, внизу, в темно-синих водах залива, - казалось, очень далеко и от домов и от играющих детей, и от развешенного для просушки белья, и вообще от всех мелких человеческих забот, - медленно проплывали подводные лодки, эсминцы, катера, посверкивали сигнальные огни, подрагивали на ветру флаги. Оттуда доносились негромкие гудки, свистки, грохот якорных цепей.

Акимова вывел из задумчивости громкий возглас:

- Акимов! Пашка! Ей-богу, он!

Акимов, крайне удивленный тем, что кто-то знает его здесь, в далеком краю, по имени, оглянулся и увидел отделившегося от группы моряков и идущего к нему почти бегом приземистого моряка. Не успев опомниться, Акимов очутился в объятиях этого человека, которого не сразу даже узнал. Наконец рассмотрев его, Акимов воскликнул:

- Мигунов! Вот не ожидал тут встретить черноморца!

- Черноморцев тут хватает, - сказал Мигунов. - Тут и Лысков, и Степанов, и кого тут только нет! А тебя никак не ожидал увидеть. Ну как же ты поживаешь? - говорил Мигунов, ощупывая и хлопывая Акимова любовно, но весьма ощутительно. - Да ты уже капитан третьего ранга! Здорово меня обскакал!

Акимов улыбнулся.

- Спасибо пехоте-матушке. Это она меня до майора возвеличила.

Мигунов потащил Акимова к ожидавшимся морякам и объявил им:

- Дружок-черноморец приехал, Пашка Акимов. У немцев на флоте паника.

Узнав, что Акимов служил в пехоте и только что приехал чуть ли не с самого фронта, Мигунов сразу затих, стал подробно расспрашивать о ходе военных действий там, на главном театре войны, и время от времени, с непохожей на него серьезной миной, говорил:

- Что? Трудненько там? А?

Акимов не мог не отметить при этом, что моряк считает флот, как он выразился, "подсобным хозяйством", а пехоту - основой основ. Это явление было новостью для Акимова - в мирное время моряки были склонны ставить себя выше сухопутных войск. Перемена мнения соответствовала ходу войны и, несомненно, указывала на трезвый ум этих морских ребят, окруживших теперь Акимова тесным кольцом.

Узнав, что его друг назначен всего-навсего дублером, Мигунов обиделся за Акимова и сердито сказал:

- Эх вы! У надводников всегда так! Жаль, что ты не подводник. У нас совсем другой порядок. Где ты устроился? Да брось ты этих женатиков, - он покосился на молча стоявшего поодаль Бадейкина. - Переходи к нам, холостякам. У нас веселее.

- Ты совсем не изменился, - засмеялся Акимов.

Ему было приятно, что у него тут оказались друзья-черноморцы и среди них этот забубенный парень, капитан-лейтенант Мигунов.

Простившись с ним и пообещав подумать о его предложении, Акимов догнал Бадейкина.

- Знаете Мигунова? - спросил Акимов.

- Знаком немного.

- Сорвяголова, - улыбаясь, сказал Акимов.

- Герой Советского Союза, - серьезно сообщил Бадейкин.

- Ну? - удивился и рассмеялся Акимов. - Вот так обскакал!

Акимов остался жить у Бадейкина. Мигунов, нередко забегавший к нему, даже приревновал товарища к маленькому лейтенанту и все пытался сманить его к холостякам.

- Да я же сам "женатик", - смеясь, сознался наконец Акимов.

- И ты? - удивился Мигунов и, внезапно задумавшись, сказал с некоторой грустью: - Лучшие люди женятся. Боюсь, и мой черед приходит.

Акимов все время проводил на своем катере, руководил учебными занятиями, присутствовал при малых и больших приборках, вечерних поверках, расспрашивал матросов обо всем, что им известно о Баренцевом море, знакомился с бухтами, якорными стоянками и путевыми картами.

Этими всеми делами, а также ожиданием писем от Анички были полны мысли Акимова все

время. Ожидание ее писем стало тем постоянным и напряженным состоянием души, которое не покидало его ни на минуту, чтобы он ни делал. Он вспомнил, что даже не знает почерка Анички, и представлял себе, каким должен быть ее почерк, а также старался представить, каким будет ее первое письмо и ее обращение к нему: "милый", "дорогой" или еще что-нибудь в этом роде. Он назначал все новые сроки для получения ее первого письма и, слегка насмехаясь над самим собой, старательно высчитывал, сколько дней прошло с момента получения ею его первого письма отсюда. А так как она должна, очевидно, ответить ему сразу же, ее ответ должен прибыть через такое-то количество дней. Не получив ответа в предполагаемый срок, он отнес это за счет больших расстояний и скрепя сердце назначил новый срок, а потом назначал все новые и новые сроки.

В течение этого времени спокойная жизнь на берегу несколько раз прерывалась поисками вражеских подводных лодок, обнаруженных на подходе к базе, а спустя три недели морской охотник совершил вторичное плавание в Варангер-фьорд.

На этот раз катером командовал Акимов, Бадейкин же находился внизу и появлялся на мостике только изредка. Потирая ручки, маленький лейтенант спрашивал Климашина или боцмана Жигало:

- А мой квартирант что? Хороший ученик?

Климашин отвечал:

- Вполне справляется, товарищ лейтенант.

Жигало отвечал коротко:

- Моряк.

Это было величайшей похвалой в устах боцмана, и Бадейкин радовался такой аттестации, потому что привязался к Акимову внезапной и сильной привязанностью, отличающей очень сдержанных и малообщительных людей.

Между тем катер приближался к той точке побережья, которая предрасположена была ему боевым распоряжением. Берег не подавал признаков жизни. Бадейкин вышел на мостик.

- Не видать? - спросил он.

- Тишина, - ответил Акимов.

Минут сорок дрейфовали у берега, дожидаясь. Все молчали.

Наконец Акимов нетерпеливо сказал:

- Может, мне на розыски пойти?

- Нет, - энергически возразил Бадейкин. - Нет у нас такого приказа.

Уже собрались уходить, когда значительно южнее указанного пункта в небе появились долгожданные ракеты: три зеленые, две красные. И следом за ними оттуда донеслись звуки выстрелов.

- Полный вперед, - скомандовал Акимов.

Перестрелка становилась все более ожесточенной. Все на катере заняли места по боевому расписанию. Катер подошел к берегу, и Акимов велел сигнальщику дать условленную заранее ответную серию красных ракет. Это, как Акимов, впрочем, и предполагал,

немедленно вызвало стрельбу по катеру. Боцман, сидевший у пулемета, начал отвечать. Закричала и стремительно взлетела в небо чайка.

С берега, совсем рядом, послышался хриплый голос:

- Мы тут, ребята.

С тупым треском упали на камни сходни. Пулеметы свирепствовали вовсю.

- Скорей, скорей, - негромко говорил Акимов, стоя у сходней.

Разведчики же шли очень медленно. Они несли что-то на плечах. Акимов не имел времени узнать, что именно, - он руководил огнем пулемета и матросских автоматов по невидимому противнику, стрелявшему из-за скал.

- Все? - спросил он у разведчика, который шел последним, пятясь назад, лицом к берегу, и стреляя из автомата.

- Все, - ответил разведчик, оглядываясь и опуская автомат.

Убрали сходни. Только когда катер отошел от берега на добрых два кабельтова, то есть около четырехсот метров, Акимов приказал прекратить огонь.

Кораблик лег на обратный курс. Разведчики исчезли с палубы - им, по обыкновению, предоставили кубрик.

Вскоре на мостике показался Летягин.

- Здравствуйте, - сказал он.

Акимов улыбнулся ему.

- Рад вас видеть. Как дела?

Летягин помолчал, потом ответил:

- Задачу мы выполнили, да вот... Убит главстаршина Храмцов. Хороший разведчик. Я решил увезти его с собой. Пусть лежит в родной земле. Чтобы враги не надругались. Хотя можно его было похоронить у норвегов, они народ хороший, фашистов ненавидят и нам помогают, укрывают наших людей, тех, что бежали из немецких лагерей. У них можно было похоронить Храмцова, конечно, но мы как раз шли в обратный путь, вот я и решил. А норвеги, - он называл норвежцев "норвегами", - народ хороший. Очень мне помогли. - Помолчав, он проговорил уже веселее: - Задачу мы выполнили хорошо. Даже отлично выполнили. Сведения важнейшего характера, очень пригодятся командованию. Он бледно улыбнулся. - С вашей легкой руки.

- Вернее, с моей легкой спины, - грустно улыбнулся и Акимов. Ему было жалко этого неизвестного ему Храмцова.

Летягин все не уходил с мостика. Видимо, ему хотелось говорить. Голосом, который все крепчал, словно оттаивал после множества холодных ночей, он рассказывал о "норвегах", хвалил их, жалел и в то же время поругивал за некоторую пассивность в борьбе с захватчиками.

Вернувшись на базу, Акимов покинул катер вместе с Летягиным. Разведчик пригласил его к себе в гости, но Акимов, хотя Летягин ему очень нравился, не пошел с ним, а сослался на какое-то дело и поспешил в штаб дивизиона спросить о письмах. Письмо было - от матери, из

Коврова. От Анички ничего не было. Акимов удивился и огорчился. Он считал, что сегодня - крайний срок, даже если Аничка по каким-нибудь причинам ответила на его первое письмо через неделю после получения его.

Да, даже если она ждала целую неделю, если она была способна целых семь дней не ответить на его первое письмо, - даже и в этом случае ответ должен был бы уже прибыть.

Акимов пошел было домой, чтобы обсушиться и поесть, но с полдороги, вспомнив о семейном уюте и взаимных нежностях четы Бадейкиных, повернул обратно: этот уют и эти нежности теперь раздражали его.

- Так и есть, - бормотал Акимов, медленно шагая по палубе, - "жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда..." Это до тебя все знали, а теперь и ты это узнал.

Он редко писал последнее время домой, в Ковров, и теперь жгучая обида на Аничку соединилась с угрызениями совести по поводу его невнимательности к матери и отцу, и, дополняя друг друга, эти два чувства составили такую горькую смесь, что хотелось кусать пальцы. Он спустился в командирскую каюту, написал письмо домой и, вспоминая родной дом, отца, мать, сестру, думал, почти умиротворенный: "Это у меня есть, и этого никто не отнимет".

Он снова поднялся на палубу. Матросы в кубрике обедали. Оттуда слышались веселые голоса, и вскоре раздалось пение Кашеварова. На баке среди тросов стояли боцман Жигало и Климашин. Боцман курил и негромко рассказывал:

- Познакомился с ней американец один. Он ей - лав ю, лав ю, люблю, значит, люблю, она - хи-хи да ха-ха... Он ей говорит: разрешите, значит, преподнести подарочек. И дает ей шелковый чулок. Один чулок. Ну, она рассмеялась, спрашивает: это зачем же мне один? Или я калека? А он ей: второй получишь после. Когда после? А когда, значит, уступишь моему желанию. Ну, она баба бойкая, возьми и наплюй ему в рожу. Скандал. Он - к коменданту: оскорбили его, значит... Хе-хе...

Он невесело рассмеялся.

Климашин удивленно протянул:

- Ну и людишки!

- Вонтики, - сказал Жигало.

"Вонтиками" называли здесь американцев потому, что, продавая в закоулках Мурманского порта чулки и сигареты, они вполголоса спрашивали: "Вонт ит?", то есть: "Желаете?" Этот тихий и бросаемый мимоходом, как бы вскользь, вороватый вопрос всех спекулянтов мира и послужил поводом для местного прозвища.

Климашин ушел. Боцман остался в одиночестве, что-то бормотал, покашливал. Наконец он заметил Акимова.

- Вы здесь? - удивился боцман. - А я думал - ушли.

- Нет, не ушел, - сказал Акимов. Помолчав, он спросил: - Трудно было вам, Иван Иванович, к северу привыкать?

- Нет. Служба - всюду служба. Сначала, конечно, казалось все мрачным, некрасивым. Суровым. Потом пригляделся. И понравилось. Очень даже понравилось. - Он пытливо посмотрел на Акимова и вдруг спросил: - А вам что? Не по душе?

- Да нет, ничего, - поспешно проговорил Акимов. Глядя на расходящиеся волны, он сказал: - Погода неважная.

Жигало мечтательно вздохнул:

- Было время. Плавали только в хорошую погоду. А теперь плаваем в любую. Разве я бы в мирное время вышел в открытое море на нашей скорлупе при семибалльном шторме? Ни в жизнь! А теперь выходим. И не тонем! Корабль - он тоже как будто соображает, что война. Как человек. А человек что? Никаких посторонних нежностей не осталось. Работает за четверых и не ропщет. Почти не ропщет. Иногда только. И то - больше на Гитлера. - Жигало замолчал, потом, внимательно взглянув на Акимова, спросил: - Может, отдохнете здесь, товарищ капитан третьего ранга? Мы вам коечку постелим... Обед принесем...

Акимов сказал:

- Вот и хорошо. Так и сделаем.

Ему было немного стыдно оттого, что он дал проницательному боцману возможность заметить свое тяжелое настроение. "Раньше со мной такого не бывало", - думал он, удивляясь и злясь.

Однако с этого дня Акимов почти вовсе не покидал катера и в ответ на встревоженные вопросы Бадейкина ссылаясь на то, что хочет лучше войти в курс дела и беседы с матросами-северянами очень для него полезны. Бадейкин огорчился, но не стал возражать.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Море и земля

1

"Никаких посторонних нежностей" - эти слова боцмана Жигало без ведома самого боцмана прозвучали как упрек Акимову.

Приняв близко к сердцу этот упрек, Акимов старался поменьше думать об Аничке, и, так как писем от нее по-прежнему не было, он назначил последний срок - самый последний, после которого решил забыть Аничку, искоренить из сердца воспоминание о ней. Конечно, он понимал, что это невозможно, и не рассчитывал на это в буквальном смысле слова, но он твердо верил, что сможет загнать воспоминание в самую глубину сердца, задушить его другими мыслями, иными воспоминаниями, а главное - службой.

Этот последний срок совпадал с 1 января, с началом нового, 1944 года.

В ночь на 1 января, когда все в поселке среди скал готовились к празднику - интенданты выписывали водку, женщины пекли пироги, дети украшали маленькие заполярные сосенки самодельными игрушками, катер-охотник Бадейкина получил приказ немедленно выйти в море в составе отряда эскортных кораблей. Не без вздохов сожаления бросились бегом сотни моряков вниз, к причалам.

В штабе дивизиона было решено, что Бадейкин останется на берегу, а катером будет на сей раз совершенно самостоятельно командовать его дублер. Несмотря на то, что маленький лейтенант мечтал провести новогодний вечер с Ниной Вахтанговной, он все-таки был очень взволнован, не мог себе представить, как это его катер выйдет в море без него. Растерянным и тоскующим взглядом следил он за своим кораблем, исчезавшим вместе с другими во мраке ночи.

Задача отряда состояла в том, чтобы встретить в открытом море очередной американский караван судов и принять на себя его охрану до Мурманска.

В темноте глаз еле различал другие корабли. Но не было ощущения пустынности, чувствовалась даже некоторая теснота: то тут, то там мигали узкие лучи сигнальных огней, радист принимал и передавал на мостик Акимову скупые приказания флагмана. К полуночи небо освободилось от туч, на нем заиграло северное сияние. Акимов поздравил в мегафон всех находившихся на палубе и в переговорную трубу - всех находившихся внутри корабля с наступающим Новым годом. Корабли отряда обменялись приветственными сигналами.

Сигнальщик отрапортовал:

- Дымы справа, двадцать пять.

Американский караван приближался. Он состоял из двух десятков транспортов различного водоизмещения. По бокам расположились низкие серые военные корабли.

Матросы узнавали иностранные суда.

- Вот "Леди Джен", - сказал сигнальщик, показывая пальцем на один из транспортов.

- А это "Золотая Стелла", - сообщил Кашеваров, подняв подбородок в направлении американцев: руки его были заняты.

Вот уже на палубах транспортов можно было различить людей. Они стояли на борту своих гигантских пароходов, словно на крышах пятиэтажных домов, и радостно махали беретами подходившим кораблям советского отряда.

Эсминцы, морские охотники, сторожевые корабли, тральщики, замедлив ход, занимали свои места в "ордере" по ранее разработанному плану. Занял предназначенное ему место на крайнем левом фланге конвоя и Акимов. После сложного маневрирования караван двинулся к Мурманску. Шли медленно, приноравливаясь к ходу тяжелых транспортов.

На траверзе полуострова Рыбачьего, который весь в снегу подымался из темной воды сверкающей серебряной громадой, не более чем в трех кабельтовых левее конвоя на мгновение показалась в волнах и тут же снова исчезла тонкая и грозная игла перископа.

Акимов и матросы на его катере заметили ее.

Нельзя было медлить ни секунды. Акимов отдал команду: "Атака, вперед полный, бомбы товсь", - и уже тогда, когда катер стрелой несся в направлении скрывшегося перископа, сообразил поднять на мачту сигнал и дать условную ракету. Глубинные бомбы были сброшены, подняв позади катера огромные фонтаны воды, из свинцово-серой ставшей вдруг пронзительно-зеленой.

Развернувшись, катер пошел назад. Акимов опять увидел перед собой пароходы и военные корабли. Все небо над ними тревожно осветилось белыми ракетами. Над Рыбачьим тоже взмыли в небо ракеты. Стало светло, как днем. Видно было, как по палубе ближнего американского транспорта бегают взволнованные люди.

- Ничего, коробка, - успокоительно бормотал Акимов, обращаясь к американскому пароходу. - Не бойся. Выручим. - Он был полон холодной ненависти к притаившейся в молчаливой толще воды вражеской лодке и почти сумасшедшей боязни за судьбу огромной, красивой чужой посуды, груженной чем-то важным для майора Головина, Майборода, Файзуллина, Вытягова, Филькова, Орешкина. И для Анички. Колокол громкого боя - сигнал тревоги все звонил и звонил. - Товсь! - опять скомандовал Акимов. Еще одна серия бомб полетела в воду. Опять за кормой катера один за другим поднялись в воздух изумрудные каскады воды.



Подчиняясь очередной команде Акимова, катер во второй раз развернулся и опять пошел вперед, в море. Климашин на корме готовился к очередному бомбометанию. Он что-то кричал. Гидроакустик - то есть матрос, слушающий воду, - прерывающимся голосом крикнул снизу:

- Шум винтов слева, сто тридцать пять.

Катер сбросил еще одну серию глубинных бомб и снова развернулся. Приближались два катера, высланные флагманом в помощь Акимову. Они были уже близко, когда кто-то из матросов, подняв сияющее лицо к мостику, неожиданно крикнул:

- Ура-а!..

Невдалеке на крутящейся и бурлящей морской поверхности показалась узкая и все расширяющаяся масляная полоса.

- Ура-а!.. - вопил все тот же голос, полный бесконечного восторга.

Конечно, немецкая подводная лодка, может быть, имитировала собственную гибель, пуская для отвода глаз на поверхность моря соляровое масло. Акимов готов был тут продежурить хоть целую неделю, чтобы добить ее или удостовериться в ее гибели. Но флагман приказал ему присоединиться к конвою, и он ушел, оставив свой пост на попечение других двух катеров и утешая себя тем, что лодку обнаружил он и благодаря его быстрым действиям она не выпустила смертоносную торпеду.

Проводив караван до Мурманска, Акимов вместе с остальными кораблями вернулся на базу. Катер ошвартовался вблизи других морских охотников, участвовавших в конвое, у знакомого пирса.

Как раз в это время в бухте показался юркий, веселый, крашенный в зеленый цвет катер военно-полевой связи. Он просигналил морским охотникам:

- Для вас имею почту. Разрешите подойти.

Матросы всех катеров высыпали на палубу и ждали приближения почты. Акимов в это время рассказывал Бадейкину об истории с вражеской лодкой. Рассказывал он довольно подробно, но все мысли его были сосредоточены на пакете писем - разноцветных конвертов и белых треугольничков, которые перебирал в руках боцман Жигало. Письма быстро рассосались среди матросов. Вот в руке Жигало осталось их пять, вот два, наконец одно. Это последнее Жигало, усмехаясь, повертел в руках, потом надорвал конверт и стал читать.

- Вот и все, - сказал Акимов.

- Молодец вы, Павел Гордеич! - воскликнул Бадейкин. - Хорошо поработали! - Его глаза блестели от радости.

2

На палубе появился незнакомый Акимову старший лейтенант с широким румяным лицом и часто мигающими близорукими глазами.

- Военный корреспондент Ковалевский, - представился он, вынул блокнот и тут же начал расспрашивать Акимова, как была потоплена немецкая подводная лодка.

- Вовсе она не потоплена, - сказал Акимов хмуро.

Ковалевский опешил, жалобно посмотрел на Бадейкина и спросил:

- Как так не потоплена? А в штабе мне сказали...

- Про это в точности знает не наш штаб, а немецкий, - возразил Акимов.

Но от Ковалевского не так-то просто было отделаться, и в конце концов Акимову пришлось рассказать ему весь ход операции. Бадейкин затащил его и корреспондента к себе в каюту. Он не одобрял скромности товарища и все приговаривал, обращаясь к Ковалевскому:

- Пишите, пишите...

Ковалевский умел заставлять людей рассказывать. В особо трудных случаях, когда собеседник оказывался совсем неразговорчивым, как в данном случае Акимов, корреспондент напускал на себя такой жалостный и беспомощный вид, что люди начинали свою сдержанность считать чуть ли не преступлением.

Ковалевский самозабвенно любил море и моряков и даже слегка стыдился того, что сам он не боевой офицер, а корреспондент. У непосвященных людей среди своих московских знакомых, особенно женщин, он старался создать впечатление, что принадлежит к "плавсоставу", то есть является офицером на корабле. Он делал так не потому, что был лжив по природе, - напротив, это был честнейший человек, - а из своеобразного тщеславия. В глубине души он полагал себя прирожденным моряком и считал, что только благодаря печальному стечению обстоятельств провел жизнь на суше. Он отлично знал все существующие классы и типы военных кораблей и вел у себя в записной книжке строгий учет потопленных и построенных немецких, английских и американских линкоров, авианосцев, крейсеров. Морские словечки - разного рода шпангоуты, комингсы и бимсы - не сходили с его уст.

Он помнил массу выдающихся случаев из боевых действий субмарин (он называл для пущего шику подводные лодки "субмаринами"), торпедных катеров, эсминцев и знал в лицо почти всех мало-мальски отличившихся офицеров и матросов Северного флота.

- Вот я и с вами познакомился, - сказал он Акимову. Ему хотелось бы еще поговорить с моряком, но его смущал сосредоточенный и суровый взгляд Акимова, мысли которого, по-видимому, витали где-то очень далеко отсюда.

Простившись, корреспондент ушел на берег.

- А вы? - спросил Бадейкин. - Пойдемте ко мне. Мы вам праздничного пирога оставили.

Акимов отвел глаза.

- Извините, Бадейкин, - сказал он. - Не могу. Обещал к Мигунову зайти.

Он действительно пошел к Мигунову в общежитие "подплава", хотя за минуту до того вовсе не собирался туда.

Мигунов часа два как вернулся с позиции. Его подводная лодка, повредив немецкий эсминец типа "Леберехт Маас", попала в тяжелое положение: на нее навалились сразу три вражеских штурмбота, забросавших лодку глубинными бомбами.

- Еле выбрались, - рассказывал Мигунов. - Гоняли нас два часа. Я уже думал - конец приходит. У нас только что сам командующий был, похвалил. Затонул, говорит, эсминец, летчики докладывали. Ордена будут. Хорошо, что ты пришел, Паша. Выпьем за спасение души, а то ты совсем захирел у этого Бадейкина. Угрюмый ты какой-то стал.

Акимов сказал:

- Немцы небось радуются - потопили, дескать, советскую подводную лодку. Штабы

рапортуют, корреспонденты пишут...

Это предположение рассмешило Мигунова.

- А мы тут гуляем!

Он побежал звать товарищей. Быстро накрыли стол. Подводники без умолку говорили о последней операции. Дело не обошлось без некоторого самохвальства. Белобрысый лейтенант втолковывал Акимову, что подводники "главные люди на флоте" и что именно они наносят немецким фашистам самые серьезные потери. Акимов устало соглашался, но, поддразнивая подводников, спрашивал:

- Ну, а эсминцы как? Неужели ничего не стоят?

Подводники не возражали против эсминцев, но настаивали на первенстве подводных лодок. Акимов опять соглашался, но тут же снова спрашивал:

- А морская авиация? Мелочь, по-вашему?

Авиации они отдавали должное, но опять-таки не в ущерб своему роду оружия.

Акимов пил много, но незаметно было, чтобы он хмелел.

Мигунов вдруг расчувствовался и, оглядев всех присутствующих добрым и восторженным взглядом, сказал:

- Какие вы у меня все хорошие ребята! А вот этот, - крикнул он, показывая пальцем на Акимова, - мой любимый друг! Он еще всем покажет! Я его знаю! Павел, ты золотой парень, и один в тебе недостаток - что ты не подводник. Выпьем за здоровье Паши Акимова!

Все охотно поддержали этот тост и затем решили отправиться в Дом флота.

Веселая компания оделась и вышла на улицу. По дороге их застала пурга, знаменитые на севере "снежные заряды": облако снежной крупы, в котором еле увидишь идущего рядом человека. Пронесется такой заряд, и опять снега нет, словно его и не было. Потом - следующий заряд.

Издалека доносились звуки вальса. Акимов представил себе вдруг, как Аничка в темноте осенней ночи под Оршей шла по оврагу на звуки музыки. И на мгновение он испытал странное чувство перевоплощения в Аничку, словно это не он, а она шла теперь в полярной ночи на звуки вальса туда, где, быть может, он, Акимов, ждет ее.

Потом это странное чувство рассеялось, ощущение невероятной близости возлюбленной исчезло, а взамен опять пришло отчаяние и сомнение в себе и в Аничке. Он вдруг твердо решил, что его постигло величайшее несчастье: она его забыла. И он стал не без некоторой наивности искать причины, почему она его забыла. Он говорил себе, что этого следовало ожидать и если он раньше думал, что она будет его помнить и любить, то он только уподоблялся невежественному алхимику, вообразившему, что он может заключить солнечный луч в стеклянную посудину.

Раз она так быстро могла влюбиться в него, Акимова, почему это не могло случиться с ней во второй раз?

Мало ли там хороших людей! Взять хотя бы капитана Черных, нового командира первого батальона. Ведь понравился он и солдатам, и офицерам, и Головину. Черных действительно прекрасный человек, спокойный, сдержанный, с ловкими и точными движениями, не такой увалень и сумасброд, как он, Акимов. Чем больше думал Акимов об этом, тем более

достойным Аничкиной любви казался ему капитан Черных, и именно он, а не кто-нибудь другой.

"Да, но ведь мы муж и жена", - негодовал Акимов и сам издевался над этим соображением. Чем могло ему помочь то обстоятельство, что где-то за тридевять земель в большой разграфленной книге они с Аничкой записаны рядом? Что может тут сделать та немолодая женщина в пенсне, записавшая их чуть дрожащей рукой в эту книгу?

Акимов чувствовал, что сердце его разрывается от настоящего горя, и, сжимая зубы, шептал, обращаясь к свирепому ветру и острой, как град, снежной крупе: "Бей, бей сильнее. Дураков бить надо".

Потом он понял, что находится в очень внутренне расслабленном состоянии. С ясностью ума, свойственной ему, он отнес это за счет усталости и действия водки, вскоре взял себя в руки и крикнул Мигунову:

- Как ты там, Вася? Живой?

- Живо-о-ой, - ответил Мигунов. Голос его заглушали вой ветра и свист обдававшей их снежной крупы.

- Ну и славу богу! А то ты все молчишь, даже странно. На себя не похож! Песню, что ли, споем?

- Боюсь, начальство услышит, скажет - пьяные.

- А что - разве трезвые? Конечно, пьяные. Обманывать начальство нехорошо...

Все засмеялись. Звуки вальса все приближались. Наконец показалось большое здание, ступеньки которого были завалены только что выпавшим, нетронутым снегом, отчего казалось, что дом необитаем.

Но дом был полон людей. Электрические лампы освещали ровным и спокойным светом мягкие дорожки и дубовые панели. Кроме офицеров флота и морской авиации, тут находилось и немало женщин - врачей, связисток и офицерских жен. Женщины - многие из них были в длинных шелковых платьях сидели отдельной группой у стены, глядели на мужчин, перешептываясь, усмехаясь и отпуская критические замечания по их адресу. Все вместе напоминало самые благополучные времена в каком-нибудь Доме флота под мирным небом южной гавани.

Снова начались танцы. Обвеваемые широкими юбками стройные ноги закружились по паркетному полу. Моряки с серьезными лицами людей, делающих не очень приятное, но весьма нужное дело, кружили своих дам. Иногда мелькало лицо красное, явно подвыпившее, оно тщилося из последних сил оставаться серьезным, но, встречаясь взглядом со стоявшими вдоль стен нетанцующими знакомыми ребятами, складывалось в полувиноватую, полуглумливую гримасу, означавшую: "Знаю, что это глупо, но уж простите, братцы".

Все выглядело бы совсем мирно, если бы не властное вмешательство дежурного офицера, который время от времени появлялся в дверях с бесстрастным лицом и отрывисто вызывал:

- Капитан-лейтенант Бирюков! На корабль!

- Капитан второго ранга Погорельцев! К командующему!

- Флаг-механик флота! К командующему!

Иногда он вызывал по списку:

- Военврачи Каневская, Лукина, Преображенский! В госпиталь!
- Алексеев, Муравьев, Самойлович, Гуссейнов! В политуправление!
- Пискарев, Губенко, Геладзе! К командующему!

Иногда он вызывал еще более кратко:

- Офицеры с "Ретивого"! На корабль! Срочно!
- Летчики Морозова! На базу! Срочно!
- Экипаж подлодки 26-17! В подплав! Срочно!

При больших вызовах зал редел, как вырубленный.

Вызванные бросали свою пару посередине очередного па и мгновенно исчезали. А оставленные женщины еще с полминуты стояли посреди танцующих, все еще держа руки на уровне плеч исчезнувших партнеров, и с их лиц постепенно сходила томная усмешка, вызванное танцем легкое опьянение. Потом они тихо отходили к стене и, прислонясь к ней, к чему-то настороженно прислушивались, как будто они могли что-либо услышать, кроме отдаленного шума прибоя и свиста ветра.

Наблюдая все это, Акимов вдруг подумал: не убита ли она, Аничка, не ранена ли? Как ни странно, но эта мысль пришла ему в голову впервые, и он сам удивился своей непонятной в данном случае беспечности: он все время думал о чем угодно, а о том, что с Аничкой могло что-нибудь случиться, он не думал ни разу. "Нет, - решил он. - Головин сообщил бы мне, если бы что-нибудь произошло". Он содрогнулся от сознания своей полной беспомощности. Он не мог ничего сделать - ни поехать туда, где находилась его возлюбленная, ни позвать ее сюда, ни даже просто дать ей телеграмму. Его нерадостные мысли были прерваны Мигуновым. Лихой подводник, который танцевал до упаду с миловидной девушкой-врачом, пробрался к Акимову и зашептал ему на ухо:

- Павел, пошли к Валечке в гости. Там славные девчата...

Акимов отрицательно замотал головой и ушел в тихую комнату библиотеки. Здесь тоже было полно народу. Почитав газеты, Акимов решил написать письмо Аничке.

Он писал:

"Аничка! Я опять пишу тебе письмо, не надеясь получить ответ. Мне давно уже следовало прекратить эту писанину, но каждый день, как только выдается свободная минута, меня так и тянет написать тебе. Одним словом, мне трудно жить без тебя, а я, по правде говоря, не очень верил раньше в возможность такой любви, чтобы трудно было без человека день прожить. Все, что я вижу интересного, я стараюсь запомнить, чтобы потом рассказать тебе. Раньше со мной такого не бывало. Я стараюсь гораздо больше, чем раньше, понять самого себя, уяснить себе свои собственные мысли и поступки, а наткнувшись на какую-нибудь умную мысль - это бывает со мной иногда, - я стараюсь ее не забыть, чтобы потом, когда мы встретимся, выразить ее тебе, возможно, под видом как бы экспромта, чтобы ты увидела, какой у тебя дружок умный. Зачем я все это тебе теперь пишу - сам не знаю. Ты можешь только посмеяться. Раньше я не мог понять, за что ты меня полюбила, а теперь не могу понять, как могла ты меня забыть".

Написав письмо, Акимов поднялся уходить. В вестибюле он услышал отрывистый крик дежурного:

- Капитан третьего ранга Акимов! В штаб Овра!

Вначале он подумал, что тут находится какой-нибудь однофамилец, настолько неожиданным и нелепым показалось ему то обстоятельство, что он кому-то нужен. Но вот к нему выбежал Мигунов.

- Тебя вызывают, - сказал Мигунов торопливо. - Идем, я тебя провожу, а то ты тут заблудишься.

У Акимова потеплели глаза - он по достоинству оценил жертву, которую храбрый подводник готов был принести на алтарь дружбы, бросив танцы и свою Валечку.

- Ладно, Вася, - сказал Акимов. - Иди танцуй. Я все сам найду. Найду, ей-богу, найду.

Он втолкнул Мигунова обратно в зал, а сам оделся и вышел в ночную тьму, по-прежнему оглашаемую свистом вьюги.

Вызывали действительно его. Он был принят контр-адмиралом и получил новое назначение - полноправным командиром морского катера-охотника, притом - более крупного, более совершенного и с лучшим вооружением, чем катер Бадейкина.

Вспомнив о Бадейкине, Акимов испытал чувство неловкости, ему казалось, что Бадейкина незаслуженно обошли, а его, Акимова, незаслуженно возвысили. Он решился даже сказать об этом контр-адмиралу, но тот недовольным голосом возразил:

- Начальству виднее.

Позже, проходя мимо пирса, где стоял маленький корабль Бадейкина, Акимов осознал, как жаль ему расставаться с ним. С катера доносился осипший голос боцмана Жигало и пение рулевого Кашеварова.

- "Врагу не сдастся наш гордый "Варяг", - пел Кашеваров. И хотя слова "гордый "Варяг" казались такими до смешного не подходящими к суденышку, не имевшему даже имени, а только номер, в этот миг Акимов без всякой иронии отнес слова песни именно к маленькому катеру и его маленькому командиру.

Приняв свой "собственный" корабль, Акимов пошел проститься с Бадейкиным. Но бадейкинского катера уже не было - он ушел на очередное задание в море.

Не было никого и в домике на горе. Акимов взял в условленном месте ключ, собрал свои вещи, вышел, запер дверь, положил ключ, напоследок бросил прощальный взгляд на окошко, на горшки с цветами и сказал вслух:

- Прощайте, Бадейкин. Прощайте, Нина Вахтанговна.

Затем он отправился на свой корабль.

- Смирно! - скомандовал кто-то, заметив вступившего на борт нового командира. Матросы замерли. Акимов посмотрел на них, потом отдал честь военно-морскому флагу Союза ССР и своему экипажу. Ему казалось, что теперь он окончательно расстается со своими личными горестями и надеждами. Глядя на темный залив, он прощался с воспоминаниями и мечтой о своем, в конечном счете, маленьком счастье. Он сказал "вольно" и поднялся на мостик.

3

Аничка не писала Акимову по той причине, что жизнь ее подверглась большим, внезапным и удивительным переменам. Аничка оказалась далеко от своего полка и даже вне рядов армии и поэтому все еще не знала адреса Акимова. Что же касается капитана Черных, то с капитаном этим она вообще не была знакома и вряд ли могла бы вспомнить, как он выглядит

и как его зовут. Она бы остолбенела от изумления, если бы узнала, что этот вовсе не знакомый ей капитан является предметом ревности Акимова.

Полк формировался в районе станции Болотное еще две недели после отъезда Акимова. В течение этого времени Аничка получила от Акимова два письма из Москвы, но не имела возможности ответить на них в связи с тем, что адрес его - почта Московского флотского экипажа - был временным. Он и сам не советовал ей писать, покуда он не обзаведется твердым адресом.

Первого ноября полк был ночью поднят по тревоге, срочно погружен в вагоны и вместе с другими полками дивизии, в бешеном темпе, почти без остановок, часто двойной тягой, то есть с двумя паровозами - впереди и в хвосте, - отправлен на юг и выгружен третьего ноября в районе столицы Украины, города Киева. Оттуда вся дивизия - и не только она одна, но и множество других - пошла пешим маршем на запад и влилась в войска Первого Украинского фронта, предназначенные для освобождения Киева.

С самого начала похода распространилась та напряженная, жаркая и тревожная атмосфера, которая всегда сопутствует боям на важном направлении. В небе шли почти непрерывные воздушные бои, авиация врага почти беспрестанно висела над головой, стараясь бомбами и пулеметными очередями задержать, сбить с толку, ослабить наступающие войска, внушить им ужас и неуверенность. Полки шли по осеннему бездорожью, машины то и дело приходилось вытаскивать на себе, и Головин, верхом на лошади, с грустью смотрел, как от тылового лоска и сытого, довольного вида его офицеров и солдат понемногу ничего не остается.

И все-таки это было наступление, и, несмотря на бездорожье и на атмосферу постоянной тревоги, душа радовалась обилию войск и техники и зрелищу разбитых немецких танков и машин, брошенных противником на обочинах дороги и частично еще догоравших.

Полк прибыл к Днепру в момент начала переправы через реку, которая находилась под мощным обстрелом и бомбежкой. На другом берегу, на высоких холмах, желтел листвою и чернел пожарами город Киев.

В оглушительном грохоте, среди громких и раздраженных криков тысяч людей Аничке удавалось сохранять поразительное спокойствие, которое успокаивало всех окружающих. Стоявшие в башнях танков танкисты, проезжая мимо, махали ей руками и долго оглядывались на нее, пока не исчезали в дымном аду правого берега. Впереди десятка одетых в маскхалаты, обросших и молчаливых разведчиков она производила необычайное впечатление и вызывала удивленные, дружелюбные, а иногда и двусмысленные замечания проходивших солдат из других дивизий. В ответ на эти последние замечания разведчики свирепо говорили:

- Ладно. Проходи, пока не получил по морде.

Эта угроза оказывала немедленное действие, и солдаты ускоряли шаг, еще более удивляясь, потому что они улавливали в угрожающем тоне разведчиков уважение к этой девушке и готовность защищать ее от любых покушений.

Артиллерия гремела беспрестанно, а краснозвездные самолеты со всех сторон сотнями летали на правый берег и, отбомбившись, возвращались обратно. Был канун праздника, двадцать шестой годовщины Октябрьской революции, и это обстоятельство придавало сражению за Киев оттенок особой значительности и торжественности.

Во время переправы Аничке вдруг стало нехорошо, она побледнела и почувствовала головокружение. Она не обратила на свое состояние никакого внимания, так как отнесла его за счет страха смерти, все время витавшего над десятками тысяч идущих по деревянному

настилу людей, но спустя несколько дней, уже за Киевом, она встревожилась и поняла, в чем дело.

Это ее, как ни странно, очень удивило. Несмотря на все, что она знала не хуже других людей, ей все-таки показалось непонятным, чудовищным и глупым, что оттого, что она провела с любимым человеком несколько трудных для нее ночей в небольшой деревеньке около станции Бологое Октябрьской железной дороги, внутри нее зародилась новая жизнь. Вначале она отнеслась к этому факту несколько легкомысленно. Она даже решила, что, когда ребенок родится, надо будет оставить его у тети Нади и затем вернуться в армию. Потом она поняла, что это все - глупости, что не может она отдать ребенка кому бы то ни было, что ребенка надо кормить, растить, воспитывать, что это не игрушка, а человек, притом - ребенок, притом - ее ребенок. "Мой ребенок", - повторяла она про себя, смеясь и недоумевая. С безмерной, но вполне понятной наивностью она думала: "Как быстро все это получилось". Ей представлялось нормальным, что дети рождаются лишь после долгой, спокойной супружеской жизни.

Шагая с разведчиками по заполненной людьми и машинами фронтовой дороге и преодолевая тошноту, находясь все время в состоянии сдержанного волнения, Аничка беспрестанно размышляла о себе. Она делала все, что от нее требовалось, но, глядя на окружающих ее людей, думала, что она уже отгорожена от них невидимой, но непроходимой стеной своего нынешнего состояния, своего материнства. На смену прежним интересам властно явился новый интерес, и ее тайна, казалось ей, ставит ее ниже всех этих людей, которые живут более широкими задачами и озабочены более важной заботой.

По ночам, прикорнув в каком-нибудь шалаше или в очередной избе, избранной для ночлега, Аничка не спала, а прислушивалась к голосам солдат, которые разговаривали о войне и победе, и готова была плакать, чувствуя, что все эти разговоры, такие важные для всех людей, для нее теперь звучат как нечто второстепенное и далекое.

Она не знала, на что решиться, - заявлять ли о том, что с ней случилось, или предоставить событиям идти своим чередом, покуда все не станет и без того ясным. Но все несчастье заключалось в том, что она вскоре начала жалеть развивающегося в ней ребенка странной и тревожной жалостью, которая заставила ее стать осторожной, медлительной, рассчитывать каждое движение, - даже от верховой лошади она отказалась, что очень удивило окружающих, так как ранее для Анички не было большего удовольствия, чем ездить верхом.

В бою за Коростень был ранен в ногу командир полка Головин. Аничка пошла его проведать в избу, где он в ту пору обосновался.

Посидев возле Головина и узнав, что он остается в строю и не уйдет в госпиталь, она неожиданно для себя чуть не расплакалась и спросила:

- А мне что делать? - и рассказала ему обо всем.

Головин, смущенный еще больше, чем она сама, пробормотал:

- Ну что ж делать? Ничего не поделаешь... - Подумав, он проговорил: Жаль, нет адреса Акимова. Послать бы ему приветственную телеграмму.

Она сказала:

- Как это все неожиданно. И как-то нехорошо.

- Что же делать? - опять спросил Головин и снова добавил: - Ничего не поделаешь. - Он посмотрел на ее лицо и вдруг горячо вступился за нее самое: - Чего же вы так? Ничего плохого в этом нет. У вас же не так, чтоб... случайно... Все ясно. Вам надо демобилизоваться,



ехать в Москву и приступить к исполнению материнских обязанностей. Это же не шутка. Детей рожать, Анна Александровна, тоже, если подумать, важное, государственное дело. - Он помолчал, потом продолжал с нарочитой грубоватостью: - Я даже рад, все боялся, как бы вас не убило. Как бы я тогда отчитался перед Акимовым?

Воцарилось долгое молчание, было слышно, как возле избы разговаривают два солдата.

Один солдат сказал:

- Ты мне про ранет и шафран не толкуй. Нет на свете яблока лучше антоновского.

Другой пробасил:

- Ты в Крыму никогда не бывал, вот и заладил: антоновка, антоновка...

Головин медленно сказал:

- У меня ведь тоже... В Ульяновске в эвакуации двое детишек. Девочка и мальчик. Катька и Ванька.

Его голос дрогнул, и Аничка только теперь увидела, что командир полка растроган и взволнован.

- Нервы, - сказал он и отвернулся.

Через несколько дней Аничка получила документы и пошла на хутор, где располагались разведчики, проститься. Но оказалось, что, пока она оформлялась в штабе полка, пришел приказ двигаться дальше. На хуторе она уже никого не застала. Полк вытягивался по желтой глинистой дороге, люди, пушки и подводы медленно двигались дальше на запад, и вскоре Аничка осталась одна на опушке соснового бора. Мимо нее шли и шли войска, и казалось, что все, в том числе и леса и поля, движется на запад, а на восток идти или ехать невозможно, не на чем и незачем.

- Прощайте, товарищи! - сквозь слезы сказала Аничка и, взвалив на плечо свой чемоданчик, пошла на восток.

Там, немного дальше от передовой, уже было, правда, полно машин, идущих и на восток, и на юг, и на север, во всех направлениях, простирались военно-автомобильные дороги с контрольно-пропускными пунктами, регулировщицами, избами для отдыха, гремели станции железных дорог и опять без конца - вторые, третьи, четвертые эшелоны войск, не спеша идущие и едущие на запад, к границам государства. Везли печеный хлеб, снаряды, ящики с махоркой, с патронами. Шли полевые кухни, машины с обмотками, шапками-ушанками и зимним нательным бельем, полевые хлебопекарни, похоронные команды, автобусы эвакогоспиталей. И чем дальше Аничка, вначале на машине, потом в поезде, двигалась на восток, тем с большим удивлением убеждалась в том, что всюду много людей, в каждой деревне люди и все что-то делают, работают, ждут. Аничка с особым интересом смотрела теперь на детей, приглядывалась к ним так, словно никогда не встречала их раньше.

"Грозилась синица море зажечь", - с горечью думала Аничка о себе. Но по мере приближения к Москве, по мере наблюдения за обыкновенной, нефронтовой жизнью огромных масс людей у Анички стало легче на сердце, она как бы высвобождалась от той, свойственной фронтовикам ограниченности представлений, которая как бы сверху вниз смотрит на все происходящее позади узенькой линии, где непосредственно идут бои. Она вдруг стала думать не только о пространстве, но и о времени, не только о продвижении вперед на конкретной местности, но и о продвижении вперед великого государства во времени, в масштабе истории. И как ни странно, именно в этом масштабе, казалось бы таком огромном и

необъятном, Аничка и ее будущий ребенок заняли хотя и скромное, но важное и вполне приемлемое место, хотя они же не могли найти себе места в прежнем, слишком элементарном, линейном представлении Анички о своем жизненном призвании.

Все эти мысли конкретно вылились в решение немедленно после приезда в Москву начать готовиться в медицинский институт, с тем чтобы осенью будущего года поступить туда и при помощи отца стать хорошим хирургом или детским врачом. Решив это, Аничка почувствовала в себе прилив сил и тот внутренний подъем, который она испытала два года назад, отправляясь самовольно на фронт. Но теперь решение ее, не уступая тому, прежнему, в горячности и силе, было, однако, решением уже зрелого человека.

4

Москва конца 1943 года ничем не походила на Москву начала 1942 года. Тогда она была пустынно и сурова, людские потоки излились из нее - один на запад, другой на восток. Теперь потоки эти - пожалуй, еще и с лихвой - как бы снова влились обратно в величественное и бурное русло. Город оживленный, полный людей и машин, жил очень напряженной и шумной жизнью и только по вечерам на несколько минут замолкал, прислушиваясь к громкоговорителям, объявлявшим об очередной победе Красной Армии, и ожидая очередного салюта.

Аничка радостно включилась в эту быстротекущую, слегка взвинченную, но полную великих ожиданий жизнь почти мирной Москвы. С той непреклонностью, какую она сумела развить в себе, Аничка приступила к исполнению своего решения, раздобыла у подруг учебники, тетради, справочники и начала заниматься.

В школе и институте учение часто было для Анички постылой обязанностью, теперь же теоремы и формулы приобрели для нее неожиданный интерес. Ломать голову над задачей - дело, которое она раньше терпеть не могла, - теперь казалось ей увлекательным занятием. Может быть, умственное напряжение служило наилучшей разрядкой после длительного физического напряжения на фронте. Кроме того, занятия математикой, физикой и химией напоминали ей детство, которое, безвозвратно пройдя, представлялось теперь Аничке прекрасным временем. "Я старею", - смеялась Аничка, правильно разгадав суть этих перемен. Но она была довольна, даже счастлива своим рвением и успехами и решила про себя, что продолжать учиться надо, уже имея некоторый жизненный опыт, - только тогда ты способен оценить по заслугам радость узнавания новых вещей и одухотворенное состояние человека, содержание жизни которого - познание ее.

Вскоре в Москву приехал профессор Белозеров. Он был вызван для переговоров по поводу новой службы: его хотели оставить в Москве, в Главном санитарном управлении армии.

Заехал он к тете Наде и только там узнал, что Аничка в Москве. Тетя Надя сообщила ему и о том, что Аничка с жаром взялась за подготовку к поступлению в медицинский институт.

Это известие умилило и обрадовало Александра Модестовича. Он поспешил поехать домой и еще больше умилился, застав Аничку в компании с двумя другими девушками в окружении учебников. Все они были, по-видимому, весьма увлечены занятиями и не заметили, как в комнату вошел Александр Модестович.

Аничка была одета в защитное платье военного образца, а когда повернулась к отцу, он увидел на ее высокой груди - да, у нее была уже высокая, прекрасной формы грудь - два ордена и медаль "За отвагу". А лицо! Лицо было поразительно спокойным и, как показалось Александру Модестовичу, очень значительным.

Увидев отца, Аничка обрадовалась и в то же время слегка встревожилась. Ребенок, так странно и быстро реагирующий на все душевные движения своей матери, зашевелился.

"Это твой внук", - мысленно обратилась Аничка к Александру Модестовичу, и ей показалось немного комичным то, что у ее отца есть внук, а он не знает об этом.

Александр Модестович был счастлив, что дочь невредима и притом так мила и по-новому уравновешенна. Он полуторжественно, полушутливо поблагодарил ее за то, что она наконец удостоила вниманием медицину, при этом подчеркнув, что она, разумеется, вольна в своих действиях, - он намекал на то, что жалеет о прошлой размолвке и признает свою вину.

Девушки, смущенные появлением столь крупного медицинского светила, ушли. Александр Модестович решил отпраздновать счастливую встречу и достал бутылку вина, но ему пришлось пить одному, потому что Аничка, которая уже думала только о благополучии своего ребенка, боялась, что вино будет вредно для него.

Вечером Александр Модестович раздобыл билеты в Большой театр, и они пошли вдвоем смотреть балет "Лебединое озеро". Обстановка театра, старомодная роспись огромного потолка, торжественность тяжелого алого бархата, а главное, самый балет - музыка и безукоризненное изящество великой балерины Улановой, - все это составило столь грандиозный контраст со свежими воспоминаниями Анички, с картиной задымленных горизонтов, укрытых поблекшими осенними ветвями пушечных батарей, с бесконечными размытыми дорогами, по которым беспрестанно шли люди в шинелях и переваливались машины. А то обстоятельство, что публика так непосредственно и глубоко воспринимает красоту человеческого тела и созданных человеком звуков, как бы опять и опять оправдывало в собственных глазах Анички ее вынужденный уход из армии.

Аничка обращала на себя всеобщее внимание, и Александр Модестович не мог не заметить, с каким любопытством все смотрят на нее и на него. И он испытал чувство необычайной гордости за эту красивую, взрослую, сильную девушку, которая, как ни странно, была его дочкой.

Шли дни, и Аничка все не решалась сказать отцу о самом главном. Не решалась, очевидно, потому, что предчувствовала, как огорчен и подавлен будет Александр Модестович, сочтя свои прошлые подозрения справедливыми. По сути дела, они и оказались справедливыми с точки зрения человека, который не знает Акимова и, пожалуй, мало знает ее, Аничку. Взгляд голубых глаз отца, полных спокойной гордости за дочь, иногда приводил Аничку в трепет, и хотя она ни разу всерьез не пожалела о том, что произошло, но тем не менее все откладывала решительное объяснение.

Вставая рано утром, когда Александр Модестович еще спал, она уходила за покупками, готовила завтрак, потом они, оживленно разговаривая, вместе ели. Им было весело друг с другом. Потом он уезжал в Наркомат обороны, а она возилась по хозяйству - убирала, готовила обед или сидя (чтобы не повредить ему, ребенку) стирала белье. Потом приходили ее две подружки, и они вместе занимались.

Александр Модестович с восхищением воспринял перемены, происшедшие с его дочерью: он ведь давно мечтал воспитать ее в любви к физическому труду, но благие пожелания его оставались невыполненными. Эти навыки дала ей армия. Полюбив за время войны армию, профессор Белозеров думал теперь о ней, в связи со своей дочерью, с особенным чувством благодарности и преклонения.

В канун нового 1944 года Аничка получила наконец целую дачку писем от Акимова. Все они были уложены в большой, сделанный из газеты пакет. Адрес на пакете был надписан неровным, разбросанным почерком капитана Дрозда.

Она прочитала акимовские письма одно за другим, даже не по порядку, а так - какое первым попадалось под руку. С каждым новым письмом она все больше удивлялась ему, силе выражения и сдержанной страсти Акимова. Ей было бесконечно приятно то, что он не только

хороший и умный сам по себе, но и может выразить свои мысли на бумаге. Теперь только она уличила себя в том, что не вполне освободилась от институтской высокомерной привычки судить о людях по степени их грамотности, но подумала, что ей было бы неприятно, если бы ее избранник - каким бы героизмом он ни отличался на войне - оказался человеком малограмотным.

Она тут же написала длинное ответное письмо и побежала бросить письмо в почтовый ящик. А вернувшись, никак не могла приняться за учебники и все перечитывала письма, потом ей захотелось опять написать ему, и она написала второе письмо, еще длиннее первого, и снова побежала к почтовому ящику.

Встретить Новый год Александр Модестович решил вместе с дочерью у своего старого друга генерала Силаева, к которому недавно вернулась из эвакуации семья.

Эта новогодняя вечеринка должна была быть и прощальным ужином Силаев только что получил назначение на фронт. Этому назначению он давно добивался, так как его обуревала тревога, что он не повоюет по-настоящему, не приобретет подлинного военного опыта, в таком избытке приобретаемого фронтовыми генералами.

Придя домой довольно поздно вечером, Александр Модестович стал торопить Аничку, чтобы она поскорей оделась.

Она решила проститься с военным платьем и надеть новое, гражданское, фасон которого сама придумала. Это было черное, длинное, закрытое шерстяное платье, с широким поясом и с широким, круглым, достигающим проймы рукава воротником из перемежающихся белых и черных полосок блестящего шелка. Рукава были просторные, длинные, схваченные в запястьях узкими манжетами из того же материала, что и воротник. Она выглядела в этом платье очень нарядной и старше своих лет. Волосы у нее уже отросли и красиво падали на плечи, на блестящие шелковые полоски воротника.

Взглянув в зеркало, она сама себя еле узнала и очень себе понравилась, и ей казалось, что она и военный переводчик Белозерова совсем разные люди.

Ей не очень хотелось куда-либо идти, она была все время под впечатлением полученных писем Акимова, настроение у нее было очень радостное, тихое. За окном шел крупными хлопьями новогодний снег, и казалось, весь зимний город полон томительного и сладкого ожидания больших радостей.

Она то и дело взглядывала на столик, где лежали письма, и каждый раз улыбалась им.

Вошел Александр Модестович. И вдруг он посмотрел на дочь, одетую в нарядное платье, по-особому внимательно. Что-то непонятное, что-то новое в ее фигуре, женское, не по-девичьи плавное, поразило его.

Она, заметив его взгляд, слегка побледнела, потом подошла к отцу и просто сказала, без боязни, но очень серьезно:

- Да, папа, я беременна.

Разумеется, не следовало этого так говорить. Дипломатичнее было бы сказать: "Папа, я вышла замуж". А потом, уже позднее, может быть на следующий день, досказать остальное. Но эти слова, самые важные, сами собой сорвались с ее уст именно потому, что они были самыми важными, и она стремилась не говорить лишних слов и считала, что ниже ее достоинства продолжать заниматься дипломатией с собственным отцом.

Но то, как он отнесся к ее сообщению, сразу же исключило всякие дальнейшие объяснения.

Его глаза стали оловянными, слепыми. Куда девалась его обычная доброта? Он глядел на дочь с негодованием и ужасом. Он сразу же решил, что был прав с самого начала, что она и в армию стремилась вовсе не ради общего дела. Он сразу уверовал в самое худшее.

"Неужели это моя дочь?" - думал Александр Модестович, немедленно забыв о своих собственных грехах молодости. Впрочем, неправильно будет сказать, что он забыл о них. Может быть, как раз напротив. Бессознательно вспомнив все свои непорядочные поступки по отношению к женщинам, он еще больше стал презирать Аничку, при этом меряя неизвестного ему Акимова на свой аршин. Некоторые отцы почему-то склонны считать, что возлюбленные их дочерей - негодяи. Не потому ли, что сами они, отцы, подчас оказывались негодьями?

Даже ее желание поступить в медицинский институт он считал теперь фальшивым, так как заподозрил Аничку в том, что она этим хотела только подольститься к отцу, задобрить его. Не было на свете низости, которую он не мог бы теперь приписать дочери.

Может быть, если бы Аничка попыталась поговорить с ним, рассказать ему обо всем подробно и спокойно, Александр Модестович сумел бы правильно оценить положение и побороть унижительное чувство почти мужской ревности. Но, чутко уловив ход его мыслей, Аничка вся вспыхнула от негодования и уязвленной гордости и презрительно сказала:

- Впрочем, это мое личное дело. Свои соображения по этому поводу прошу оставить при себе.

Она ушла к себе, а Александр Модестович постоял несколько минут неподвижно, потом вышел в коридор, оделся и ушел из дому. К Силаеву он уже, разумеется, не пошел. Второго января он решительно отказался от работы в Москве и уехал опять на фронт, на свою прежнюю должность.

5

Для того чтобы не жить на отцовские деньги, Аничка поступила на работу в библиотеку иностранной литературы. Она уходила туда утром, составляла каталоги и часто после работы оставалась там, упрямо готовясь к поступлению в институт.

Здесь же она писала письма Павлу, и все содержание этих писем веселых, бодрых, с выдуманными смешными эпизодами, приключившимися якобы с ней, - настолько не походило на ее действительную жизнь, что это вызывало у нее самой слезы обиды. Она писала ему о хождениях в театр, подробно разбирала пьесу и игру актеров в спектаклях, виденных ею пять лет назад, исправно передавала ему приветы от отца, тети Нади и других родственников, а работу свою - почти техническую - в библиотеке изображала так, словно на свете не было более интересной, лучше оплачиваемой и веселой работы.

Письма от Акимова приходили почти каждый день. Он прислал ей аттестат на тысячу рублей в месяц, и ей стало легче жить.

Она часто ловила себя на том, что тоскует по армии - по общности интересов, чувству защищенности от бед и неожиданностей в большой семье взрослых, вооруженных, решительных людей. Она мечтала поехать служить туда, где находится Акимов, и, конечно, добилась бы своего, если бы не будущий ребенок. Она даже несколько раз думала, не лучше ли было бы без ребенка, но потом отвергала эту мысль. "А что, если родится большой человек, такой, как Ленин или Пушкин? Или хотя бы такой, как Павел?" думала она наивно, но убежденно.

Она послала Акимову список мужских и женских имен на выбор. Из мужских он выбрал имя Андрей, из женских - Екатерина.

В июле исполнились сроки, и Аничка медленно пошла пешком на Большую Молчановку в родильный дом. Она думала о том, что было бы, если бы отец не поссорился с ней и если бы она не замкнулась от него, не желая из гордости сделать первый шаг к примирению. Сколько было бы машин, профессоров, нянек, телеграмм! Он бы и сам прилетел с фронта.

Но эти мысли вовсе не делали ее несчастной, а наоборот, ее нынешнее положение не профессорской дочери, а женщины такой, как все, самостоятельной, озабоченной, отвечающей за свои поступки перед людьми, было ей по душе и даже льстило ее самолюбию.

Рожениц было мало - всего пять на огромную многокочную палату: война еще продолжалась.

Аничка родила в следующую ночь девочку. Одновременно у другой женщины родился мальчик.

Койка, на которой лежала другая роженица, с утра уже была завалена цветами и записками. К Аничке же никто не приходил, и это обстоятельство все-таки больно ее кольнуло, тем паче что она была немножко разочарована рождением девочки, а не мальчика, которого, как она знала, ожидал Акимов.

И вот в полдень няня принесла и ей сразу целых четыре букета цветов тут были и розы, и фиалки, и флоксы, и даже запоздавшая в этом году сирень. Цветы так и посыпались на больничное одеяло и на столик возле кровати. Они напомнили Аничке загородные прогулки, тенистые дачные садики под Москвой, а главное - нечто такое, что она с трудом могла вспомнить, но что, казалось ей, было особенно важным. Наконец она вспомнила: позывные воинских подразделений в тот осенний день под Оршей, в ту душераздирающую разведку боем, когда она познакомилась с Акимовым. Из глаз ее пропали и эта палата, и большое дерево, то и дело сующее листву в распахнутое окно больницы, и сморщенное лицо больничной няни, - возникли мокрые траншеи и узкие лазы, бесконечные овраги и мятущиеся под сильным ветром и косым дождем заросли на берегу ручья.

Потом Аничке подали записки, и первая, раскрытая ею, была от Акимова. Аничка чуть не лишилась чувств, решив, что Акимов здесь, но тут же все объяснилось. Акимов писал: "Моя милая! Тебе передаст эту записку т. Ковалевский, корреспондент московской газеты. Он едет в Москву. Завидую ему зверски, что он увидит тебя. Спешу, катер ждет его. Он тебе расскажет все обо мне".

Тут же была записка и от Ковалевского:

"Уважаемая Анна Александровна, зашел к Вам домой, и соседи мне сказали, где Вы. Поздравляю Вас и посылаю от имени т. Акимова и от моего имени этот букет".

Записки были еще от тети Нади, от Тани Новиковой, от девушек, с которыми Аничка вместе готовилась в институт, и от капитана Дрозда, который, оказывается, еще с месяц назад приехал в Москву учиться в военной академии и именно сегодня решил разыскать ее.

Слабая от пережитых болей и волнений, Аничка не смогла ничего написать в ответ и попросила няню передать всем, что она здорова, чувствует себя хорошо и благодарит всех.

Внизу, в приемной, тетя Надя в это время строго и придирчиво допрашивала Ковалевского, кто такой Акимов, какой он, сколько ему лет, в каком он звании, порядочный ли он человек, понимает ли он свою ответственность и т. д. и т. п.

Дрозд стоял в стороне, угрюмый и молчаливый. Таня Новикова и другие девушки с небескорыстным любопытством будущих матерей осматривались кругом и, робея, приглядывались к мужьям рожениц, сидевшим с весьма виноватым и жалким видом людей,

нанесших своим близким незаслуженную обиду.

Выписавшись из больницы, Аничка уступила настояниям тети Нади и переехала к ней. Надо отдать справедливость тете Наде: в ссоре Александра Модестовича с дочерью она была целиком на стороне Анички и о своем брате, которого боготворила, на сей раз отзывалась весьма непочтительно:

- Он дурак! Все мужчины дураки!

Ковалевский стал приходить к Аничке довольно часто. Он рассказывал ей об Акимове, о том, что ее муж сумел отличиться уже в первые дни своего пребывания в Северном флоте, и о том, что он был назначен самостоятельно командовать большим морским охотником, а затем командиром звена морских охотников. Рассказывая об Акимове с тем восхищением, которое было ему свойственно всегда в отношении моряков, Ковалевский даже не замечал, что изображает в своих рассказах свои личные отношения с Акимовым вовсе не такими, какими они были на самом деле, - то есть отношениями еле знакомых, случайно встретившихся людей, - а так, как будто они там, на Севере, были чуть ли не самыми близкими друзьями. Он поступал так не для того, чтобы обмануть Аничку, он и в самом деле чувствовал себя здесь, в Москве, близким другом Акимова и сам верил в свои рассказы. Он невольно рассказывал то, что слышал о нем, так, словно сам был свидетелем этому. Привез он однажды и две вырезки из газет, в которых Акимов упоминался как пример для подражания другим офицерам флота.

Аничка очень нравилась Ковалевскому. Он мог подолгу молча наблюдать, как она сидит на диване, очень белая, чистая, сосредоточенная, читает учебник и записывает что-то в тетрадь или что-нибудь шьет для своей девочки, время от времени поднимая на него глаза и ласково спрашивая:

- Вам не скучно?

Или говоря:

- Вы бы пошли куда-нибудь, где повеселее.

Он сознавал, что существует для нее только как друг Акимова, но это не обижало его. Он ни на что не претендовал. Просто ему нравилось быть здесь и глядеть на Аничку, любоваться ею, удивляться тому, как она превозмогает вечное желание спать - она теперь из-за девочки постоянно недосыпала и - все занимается или возится с ребенком.

Девочка в "свидетельстве о рождении" называлась Екатериной Павловной Акимовой, и было немножко смешно, что малютка имеет такое серьезное и длинное имя. Вообще в ней было много странного и смешного. Больше всего удивляло, смешило и трогало то, что на ее лице - особенно во время сна бессознательно отражались еще несвойственные ей чувства и состояния: гнев, презрение, равнодушие, задумчивость, высокомерие, легкомыслие, серьезность - все те чувства и состояния, которые когда-нибудь станут чертами характера.

Для матери эта маленькая девочка составляла целый мир. Аничка так привязалась к ней, что уже с трудом могла себе представить, как она жила без Катеньки. То время казалось ей очень далеким. Все вопросы войны, мира, будущего, все проблемы послевоенного устройства - все это Аничка рассматривала теперь в свете дальнейшей жизни ее ребенка.

Став матерью, Аничка и сама казалась себе более значительным, сложным и драгоценным организмом. Она с удивлением думала о своем теле, способном на такое чудо, как рождение человека. Она берегла себя, боялась даже слишком быстро перейти улицу, чтобы не рисковать своей, такой необходимой теперь, жизнью. Вспоминая, как легко рисковала она жизнью на фронте, Аничка задним числом ужасалась при мысли, что Катеньки могло бы не быть.

Ковалевский глядел на Аничку и ее ребенка с обожанием и решил про себя, что образ матери с младенцем недаром занимает такое большое место во всех религиях. А при мысли о том, что на дальнем севере России отец этой девочки сражается за ее будущее, Ковалевский чувствовал, что его глаза наполняются слезами.

На дальнем севере России в это время было лето и солнце не заходило вовсе. Бесконечный день заменил бесконечную ночь. Среди гранитных скал проросла зеленая трава. С моря на сушу неслись причудливые тучи разных оттенков - от молочного до темно-лилового. Иногда они опускались ниже седым туманом и покрывали скалистые горы, так что казалось, что кругом туманная и сырая низменность. Но потом их угонял ветер, и они уносились с быстротою дыма, обнажая вершины скал и мачты стоявших в заливе кораблей.

Большое красное солнце склонялось к морю, вот-вот оно исчезнет, скроется с глаз. Казалось, оно само мечтает охладить в море свою раскаленную голову. Но что-то сильное и невидимое останавливало ход солнца к закату, и оно оставалось в небе, роняя вокруг кровавые и лиловые полосы, словно пригвожденное незримыми гвоздями.

- Сейчас там хорошо, - говорил Ковалевский Аничке. - Сейчас там жить и воевать неплохо, я вам точно говорю. Я сам хочу туда скорее поехать. Скоро там начнется наступление.

Он действительно все время просился на Север, но командировку получил только в сентябре. Он сейчас же побежал к Аничке. Она собрала для Акимова посылку, написала письмо, сфотографировала Катю.

Весь под впечатлением встреч с Аничкой, безнадежно и тайно влюбленный, с чувством глубокой, незлобивой зависти к Акимову, Ковалевский выехал из Москвы. Несколько дней он провел в Мурманске, а прибыв на базу флота, первым делом пошел разыскивать Акимова. В Аничкиной посылке были яблоки, и он опасался, как бы они не сгнили.

Однако Акимова он на старом месте не нашел. Акимов был недавно откомандирован на полуостров Рыбачий в морскую пехоту. Ковалевский, во всякой мелочи искавший подтверждения своих догадок о предстоящем наступлении, подумал, что мероприятия командования по укреплению морской пехоты опытными кадрами - тоже один из показателей близости важных событий.

Приближение решительного часа чувствовалось по многим приметам. Командующий флотом то и дело вылетал в штаб Карельского фронта. На базе флота стали часто появляться пехотные генералы. Армейские соединения получали пополнения людьми и машинами. Корабли спешно ремонтировались. Подводные лодки и морская авиация расширяли круг своих действий, круша и разрывая морские коммуникации 20-й Лапландской армии Гитлера.

В связи со всеми этими новостями Ковалевский совсем забегался и только в начале октября выбрался наконец на Рыбачий.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Берег

1

В самый разгар подготовки к прорыву немецкой обороны на горном хребте Муста-Тунтури, когда вся операция уже была разработана до тонкостей и каждая часть знала полосы своего наступления; когда морская и полевая пехота, расположенная на полуостровах Рыбачьем и Среднем, ликовала в предвкушении великого часа, - отдельный батальон морской пехоты,



стоявший на левом фланге, получил приказ о смене.

Люди жили здесь долгие месяцы и годы в болотах, в трещинах скал, в складках известняка, в изломах шиферных плит, под круглосуточным обстрелом и бомбежкой. Известия о наступательных операциях других фронтов они воспринимали с неподдельной завистью. И вот в тот момент, когда наступление и здесь, в этом далеком медвежьем углу, стало реальным делом, их внезапно отзывали.

Генерал, командовавший войсками на полуостровах, сказал командиру батальона:

- Имейте в виду, Акимов. Ничего не сообщайте своим людям до самой смены. Так будет лучше.

Комбат усмехнулся, но генералу эта усмешка показалась вовсе неуместной, и он строго сказал:

- Поняли?

- Понял, - ответил комбат. Легкая усмешка все еще не сходила с его лица. Он спросил: - Не знаете, товарищ генерал, куда нас?

Генерал ничего не ответил, словно не слышал вопроса.

Покинув блиндаж генерала, Акимов отправился к себе в батальон, на передний край.

Он шел, насвистывая песенку, с легким сердцем, как некогда в детстве, когда отправлялся с ребятами в лес ловить птиц. Они шли с банками из-под консервов, полными живых тараканов и червей, и с самодельными лучками для ловли. Укрывшись в кустах тальника, они слушали соловьиную песню, восхищались ее "коленами", зачарованным шепотом называя каждое колено его принятым в народе именем: "почин", "клыканье", "желна", "пленьканье", "лешева дудка", "водопойная россыпь"...

Вообще он часто ощущал себя совсем молодым в последнее время. Это ощущение появилось в нем после получения от Анички ее первого письма. Он никогда раньше не думал, что несколько страничек бумаги, исписанных круглым женским почерком, способны сделать переворот не только в настроении человека, но и в его физическом самочувствии. Как ни странно, он чувствовал себя теперь просто здоровее и моложе, не говоря уже об усвоенной им постоянной и ровной благожелательности к людям.

Он читал это первое письмо на палубе своего катера после возвращения из очередной операции. Никто, казалось, не обращал на него внимания, и он краснел и бледнел, замирая от острого счастья на каждом слове. Потом он прочитал письмо еще раз и спрятал его в карман. После этого он постоял неподвижно не меньше трех минут и опомнился, только услышав дружелюбный голос одного из матросов, сказавшего не то вопросительно, не то утвердительно:

- Дома оказалось все в порядке, товарищ командир?

Акимов посмотрел на этого человека. Его звали Матюхин, он был родом из Кронштадта. На его лице рыжели крупные веснушки. Это круглое веселое лицо показалось Акимову необыкновенно милым, а вопрос Матюхина неожиданно раскрыл глаза Акимову на то, что люди его экипажа гораздо более тонкие наблюдатели, чем он думал раньше.

На следующий день Акимов получил второе письмо, затем письма стали приходить регулярно. Если вначале Акимов был вполне поглощен своей радостью, то позже не мог не осыпать себя жесточайшими упреками. "Каким же надо быть маленьким и гнусным человечком, - думал он, - чтобы думать об Аничке то, что я думал раньше!" Он твердил себе,

что честнее всего было бы написать ей, что она полюбила человека нехорошего, полного самых отрицательных черт и недостойного ее.

Он не понимал, откуда в его сердце возникла слепая и ярая сила, которая настолько поработила его ум, что он был готов отречься от Анички. Правда, он теперь вдруг понял, что, несмотря на все свои мучительные подозрения, он все время где-то в душе был тем не менее глубочайшим образом убежден в ее верности и душевной чистоте. Поразительно, что эта глубокая уверенность, жившая в нем, могла существовать рядом с самыми тяжелыми сомнениями.

К Матюхину он очень привязался. Позднее, когда его перевели на Рыбачий в морскую пехоту, он взял Матюхина с собой вестовым.

Вообще после получения Аничкиных писем он стал мягче и внимательнее к людям. Он стал больше интересоваться личными делами матросов. Если раньше они говорили между собой, что их командир "строгий и справедливый", теперь они говорили о нем короче: "хороший".

Он все это прекрасно замечал и даже задавал себе вопрос: где сильнее дисциплина - там, где командир строг, или там, где он требователен, но добр. И пришел к выводу, что на катере моряки слушались каждого его слова потому, что они были, во-первых, людьми долга, во-вторых, боялись командира; здесь же, в батальоне морской пехоты, - потому, что были людьми долга и боялись о г о р ч и т ь командира.

Дисциплина второго рода была выше.

Командный пункт батальона располагался в известковой скале, в пещере. Вестовой Матюхин, увидав комбата, широко улыбнулся и встал с места, но принять положение "смирно" не смог - пещера была для этого слишком низка.

- Садись, еще стукнешься от излишнего усердия, - наполовину ласково, наполовину насмешливо сказал Акимов и вошел в пещеру.

Матюхин пытливо взглянул на комбата, но не решился спросить, по каким делам командира вызывало начальство. Он уже хорошо изучил характер Акимова и знал, что тот в лучшем случае отделается ничего не значащей шуткой, например:

- В пехоте ординарцы не такие болтуны.

Матюхин любил слушать рассказы комбата о боях на Большой земле и о солдатах, воюющих там. В минуты затишья Акимов - чаще всего лежа вспоминал бои за Ельню и Смоленск и тяжелые времена 1942 года на Кавказе.

- А где вам больше нравится, в пехоте или тут, на море? - спрашивал Матюхин.

- Ну как тебе сказать? - задумчиво усмехаясь и как будто о чем-то вспоминая, отвечал Акимов. - В бою на суше веселее. Все-таки там под ногами земля, ямку выкопаешь и сидишь. Кроме того, тут лес, там рошица, рядом ржаное поле - замри и жди команды. Вот ты моряк, вырос на Балтике, что ты знаешь? Море, гавань - и все. Море да море - а что такое море? Если подумать, то это только много воды, да и то соленой. А суша - штука разнообразная, пестрая, там и горы, и холмы, и луга. А какие перелески! А какие опушки! Глазу интересно. - Он все усмехался и кончал так: - Хорошо там, где нас нет. А вспоминать все приятно.

Окидывая взглядом пещеру, Матюхин размышлял о том, что вот скоро и это кончится и будет казаться приятным воспоминанием. "Интересно, что ему там сказали в штабе, скоро ли ударим?" - думал Матюхин, искоса поглядывая на комбата.

Все выяснилось позднее, когда пришли три пехотных офицера, прибывших из части, которая

должна была сменить батальон Акимова. Часть эта оказалась штурмовой инженерной бригадой.

Саперы с любопытством и удивлением оглядывались.

Пещера уходила в глубь скалы. Голоса звучали здесь странно, гулко, эхо разносило их, ударяло о выступы и стены и приносило обратно измененными. На естественных полочках, которые, казалось, были специально выбиты в известняке, лежали в образцовом порядке предметы военного обихода - котелки, противогазы, ручные гранаты. У одной из стен стояла превосходная никелированная койка комбата. Ниже висели барометр и богато украшенный немецкий секстан. Пол был устлан резиновыми ковриками явно корабельного происхождения. Столик и несколько стульев - тоже все морского образца.

Дальше в глубину пещера была застелена тюфяками, на которых спали матросы штаба батальона. Там, в густом мраке, горела самодельная лампочка, кто-то двигался, тихо разговаривал. Хотя между "кубриком" - помещением матросов и "кают-компанией" - помещением офицеров не было никакой перегородки, но существовала условная, воображаемая перегородка, и когда из темноты к этой условной границе подходил матрос, он неизменно спрашивал:

- Разрешите?

Акимов, заметив удивление саперов, сказал:

- Что, понравилась наша пещера? Мы постарались обставить ее получше. Это мой вестовой, или как там по-вашему - ординарец, что ли? - большой специалист по части уюта.

Матюхин разливал чай для офицеров из огромного жестяного чайника в такие же большие кружки. Он глядел на саперов настороженно и даже враждебно. "Пришли на готовое", - бормотал он, громко стуча кружками.

Самый молодой из прибывших, худенький инженер-капитан, изумленно покачивал головой.

- В первый раз тут, на Рыбачьем? - спросил его Акимов.

- Он вообще на Севере впервые, - ответил за капитана инженер-подполковник. - Недавно из Москвы. И, как на грех, попал в сплошную ночь.

- Да, - подтвердил инженер-капитан. - Это очень странно. В книгах все кажется естественно, а посмотришь на самом деле - странно.

- Чаще бывает наоборот, - коротко рассмеялся Акимов, потом, внимательно взглянув на инженер-капитана, добавил: - Ничего, привыкнете, и вам здесь понравится. Небось еще писем из дому не получали?

- Не получал, - удивился и слегка покраснел инженер-капитан.

Непринужденно беседуя с саперами, Акимов на самом деле испытывал чувство тревоги. Вначале он сам не отдавал себе отчета, что именно тревожит его, но позднее понял: воспоминание о смене частей в прошлом году, под Оршей.

- Все это имущество, - начал он неторопливо рассказывать, - с затопленного немецкого тральщика. Наши торпедные катера его подбили, а береговая артиллерия добила. Он возьми и затони неподалеку, почти возле нас. Тут мы организовали свой собственный "эпрон". Мои морячки стали доставать со дна Баренцева моря то сундук, то стол, то койку. Вот и секстан притащили. В общем, массу ненужных вещей. Ясное дело, больше всех отличился вот этот орел, Матюхин. Он даже бочонок какого-то древесного спирта выудил. Решил меня

побаловать. Ну, спирт я его заставил вылить в море. Теперь там, наверно, вся рыбка передохла.

Матюхин покраснел до корней волос. Все засмеялись.

Акимов, рассказывая, все глядел исподлобья на инженер-подполковника, думая: "Вот сейчас возьмет и скажет: дескать, рассказываешь ты складно, но дело в том, что нам неясна группировка и численность войск противника, просим произвести разведку боем".

Но инженер-подполковник только по-детски похохатывал, потом поднялся с места и сказал:

- Ну спасибо, товарищ капитан третьего ранга... Мы пойдем к себе. Смену, как приказано, проведем в шесть утра.

- Тут совсем запутаешься с этим временем, - пробормотал инженер-капитан.

Когда они ушли, Акимов, по правде говоря, вздохнул с облегчением.

В пещере остались только свои офицеры - замполит капитан-лейтенант Мартынов и командиры рот - лейтенанты Козловский, Венцов и Миневич.

- Куда это нас, как ты думаешь? - спросил Мартынов.

Остальные сидели, нахохлившись, сокрушенно качали головами. Неожиданный приказ о сдаче участка казался всем странным, непонятным и несправедливым.

Акимов сказал:

- Не знаю я, ничего не знаю. Думаете, не спрашивал? Спрашивал. Генерал молчит. Может, сам не знает. Одним словом, записывайте маршрут и прощайтесь с Рыбачьем. Проверьте все до последнего хлястика. Почистить оружие и побрить всех.

Усмехаясь про себя, глядел Акимов на хмурые лица своих офицеров и испытывал успокоительное чувство от сознания, что он уходит отсюда не один, а с ними, вот этими людьми, которых он успел полюбить за короткий срок совместной службы. Это было куда приятнее, чем уйти одному, как он уходил, например, из полка майора Головина, с морского охотника Бадейкина и потом - из звена морских охотников, которым командовал в последнее время.

Может быть, это ему казалось теперь, но морские пехотинцы нравились ему больше, чем просто пехотинцы, и больше, чем просто моряки. Дело в том, что они были и теми и другими. В них была особенная спаянность, порывистая удаль, гордость своей причастностью к морю, внешняя и внутренняя культура, свойственные морякам, и в то же время - основательность, настойчивость, гордость тем обстоятельством, что именно они своим продвижением по земле решают успех сражения, трезвая и расчетливая храбрость, свойственные пехоте.

Прибыв сюда полтора месяца назад, Акимов должен был признать, что он ничего подобного по трудности условий жизни раньше не видывал. И все-таки морские пехотинцы имели на редкость молодцеватый вид. Здесь стояло войско обстрелянное, прокалившееся на северном ветру, насквозь просоленное морем, связанное безупречной морской дружбой, шагающее по скалам и пятнистой тундре вразвалку, как по корабельной палубе.

Мартынов, потомственный моряк-ленинградец, очень высокий, очень худой, с вечной трубкой в зубах, с широкими, прямыми, даже чуть приподнятыми кверху плечами, был всегда сдержан и спокоен, аккуратен, чисто выбрит и вымыт. Принадлежности его туалета вызывали удивление: там были разные щеточки и щетки, губки и мыльницы, - все это блестело никелем и белыми костяными ручками. Его вошедшая в поговорку опрятность была так непохожа на

интеллигентскую небрежность в одежде покойного Ремизова! И все же Акимов находил в них нечто родственное: прямолинейную, но безграничную до самозабвения преданность общему делу и умение страдать молча.

Козловский был невысокого роста, но очень складный смуглый юноша, с живыми глазами и маленькой изящной головкой на длинной юной шее. Венцов, напротив, был плотный, широкоплечий, безбровый крепыш с толстыми добрыми губами. Нервное тонкое лицо Миневича с черными усиками и фатовскими бачками все время подергивалось.

Все они, как и другие морские пехотинцы, были одеты в шинели армейского образца, но что-то неуловимое выдавало их принадлежность к сословию моряков. Их мечтой было вернуться на корабли, но, пока это не могло осуществиться, кораблем был для них и этот полуостров, и эта пещера, и вообще весь мир. Миневич - тот даже носил на шапке пехотинца морскую эмблему, так называемого "краба" с золотым якорем.

Выпив чаю, лейтенанты отправились к себе в роты. Акимов с Мартыновым тоже собрались туда, но их задержало появление ближайшего соседа по участку - капитана третьего ранга Селезнева. Ему жаль было расставаться с Акимовым - он уже прослышал о смене, - и он выглядел очень грустным, но тем не менее стал отбирать из "оборудования" акимовской пещеры то, что могло пригодиться ему и что он вовсе не желал оставлять саперам.

Акимов сказал:

- Ладно, ты тут смотри, что тебе нужно, а я пошел в подразделения.

Передний край располагался вдоль скал, один опорный пункт соединялся с другим головокружительными тропками, по которым висели телефонный провод и толстая веревка. Этих веревок по всему переднему краю тянулось множество, так как в темноте полярной ночи можно было попасть туда, куда требовалось, только держась за них.

Но теперь был полдень, то короткое время, которое служило единственным напоминанием о том, что где-то существует дневной свет.

Стоя у обрыва, Акимов услышал внизу, среди груды камней, недовольные голоса.

- Уж знают, - сказал Акимов.

Заслышав шаги и узнав комбата и замполита, матросы замолчали.

Акимов позвал:

- Туляков!

- Есть! - отозвался главстаршина Туляков и повернул к командиру серьезное лицо с очень черными густыми бровями.

- Что, загрустил?

- Немножко, товарищ капитан третьего ранга. Жаль, конечно, уходить отсюда перед наступлением. Я здесь три раза свой день рождения справлял, в этих скалистых горах. Тут состарился, можно сказать.

- И я здесь третий год, - сказал старшина 1-й статьи Егоров. Он сверкнул глазами и, показывая рукой в сторону противника, неожиданно с яростью произнес: - Ух, проклятый! Мечтал я - доберусь до тебя наконец, рассчитаюсь за все три года... - Его большая узловатая рука сжалась в кулак и, ослабев, опустилась вниз. Он взглянул на Акимова, застенчиво улыбнулся и пояснил: - Я все ихние повадки изучил, некоторых даже личность запомнил.

Старшина 2-й статьи Гунявин спросил откуда-то издали, из полутьмы:

- А не знаете, куда нас? В резерв, что ли?

В этом вопросе послышалась такая неподдельная тревога, что Акимов улыбнулся и сказал:

- Зря беспокоитесь, ребята. Вола в гости зовут не мед пить, а воду возить.

Все засмеялись.

- Этот скажет... - одобрительно прошептал Егоров.

Не без гордости глядели бойцы снизу вверх на крупную фигуру своего комбата. Они успели полюбить его и нередко хвалились перед бойцами из других батальонов:

- У нас комбат воевал в пехоте под Москвой и Смоленском. С ним не страшно.

Акимов пошел дальше. На повороте тропинки он остановился и поглядел на немецкий передний край. Горный хребет Муста-Тунтури возвышался за перешейком. Сплошное нагромождение почти отвесных скал, - по крайней мере отсюда казалось, что они непреодолимы. Простым глазом можно было различить вражеские укрепления, многоярусные полосы каменных и железобетонных огневых точек.

Глядя на эту мощную оборону, Акимов вспомнил о том, как он год назад под Оршей глядел из амбразуры на захваченную немцами белорусскую землю и мечтал пойти вперед и вперед, чтобы освободить стонущую под игом захватчиков Европу. Эта мечта в то время казалась страшно далекой. Теперь наши войска стояли на западе под Варшавой, а на юге сражались в Румынии, Югославии и Венгрии. Здесь, на севере, не настала ли очередь Норвегии?

- А как ты думаешь, куда нас пошлют? - неожиданно спросил Акимов, обращаясь к Мартынову. Не дожидаясь ответа, он пристально посмотрел на Мартынова и проговорил: - А я вот думаю, что в десант.

Мартынов встрепенулся:

- А почему ты думаешь, что в десант?

- Больше некуда. Если я не ошибся, то мы через пару деньков окажемся в тылу у всех этих горцев из Тироля и Штейермарка.

- Вот как? - озабоченно произнес Мартынов. Подумав, он сказал: - Не нужно пока о твоих предположениях рассказывать матросам.

Акимов махнул рукой.

- Матросам? - переспросил он. - Они все сами поймут, если уже не поняли. От солдата разве что-нибудь скроешь?

По переднему краю шла негромкая суэта, лязгало оружие, раздавались нетерпеливые голоса ротных старшин. Люди спешили завершить все приготовления в светлое время, которое уже кончалось. Темнело быстро, и когда Акимов вернулся к пещере, густая темнота окутала все кругом.

Селезнев уже собирался уходить.

- Секстан возьми, - сказал Акимов.

- А зачем?

- Хороший. Жалко бросать. Будет тебе память.
- Ладно. Спасибо. Пришлю своих парней за имуществом.
- Смотри поспеши, не то саперы захватят.

Тут в разговор вмешался Матюхин. Он негодуяше сказал:

- А койку, товарищ комбат? Неужели мы койки оставим?

Акимов, прищурясь, ответил:

- Бери что хочешь, но учти - на своей спине все понесешь.

Это предупреждение сразу же образумило Матюхина, и он, хотя и не без сожаления, бросил прощальный взгляд на никелированную койку и на весь пещерный уют, который он создавал здесь с таким трудом собственными руками.

Это уже все прошло, уже становилось воспоминанием. А что будет впереди - неизвестно.

## 2

На следующий день в пещеру Акимова, где расположились саперы, явился Ковалевский. Он порядком устал, так как от самой машины тащил через скалы посылку с яблоками.

Узнав, что Акимов со своим батальоном ушел в неизвестном направлении, Ковалевский очень расстроился. Он собрался было отправиться обратно, но его заинтересовали саперы. Поговорив с ними, он сел на корабельную койку писать про них корреспонденцию. "Эти саперы, хотя они и не моряки, тоже удивительно храбрые люди", - растроганно думал он, быстро водя карандашом по страничкам блокнота. Потом он пошел в соседние части морской пехоты, по дороге попал под сильный обстрел противника, полежал в обнимку с Аничкиной посылкой полчаса под огнем и, благополучно выбравшись оттуда, встретился с известным во флоте главстаршиной. Героем Советского Союза, о котором давно мечтал написать очерк.

Разговор с ним занял часа три. Затем Ковалевский пообедал в одном из полков сухарями и жидким супом и собрался уходить, но узнал, что береговая батарея, расположенная неподалеку, на днях потопила немецкую самоходную баржу. Материал показался ему интересным, и он отправился туда. По дороге он и сопровождавший его солдат попали под пулеметный обстрел и еле выбрались.

Ковалевский считал себя отъявленным трусом и очень страдал от этого. Тысячу раз за день душа его уходила в пятки, но он все-таки упрямо полз туда, где его ожидала интересная встреча, важный разговор - все то, что он называл "материалом".

Бледный после пережитых волнений, он усаживался с солдатами, записывал, расспрашивал, завидовал их спокойствию и не замечал, что солдаты глядят на него одобрительно: "Молодец корреспондент, забрался к нам на самую передовую". Ему казалось, что они видят насквозь все то, что творится у него в душе. Впрочем, они, может быть, это и замечали, но не только не осуждали его, а, наоборот, с уважением и даже некоторым удивлением думали: "Пищит, а лезет".

Покончив со своими делами, Ковалевский снова взвалил ящик с яблоками себе на плечо и стал пробираться обратно к ожидавшей его машине. Под прикрытием скал, далеко от передовой, он повеселел и приободрился. Но здесь он встретил знакомых офицеров, только что вернувшихся с экстренного совещания у командующего флотом. Они сообщили Ковалевскому, что на следующее утро начинается наступление - прорыв на Муста-Тунтури. Ковалевский сразу же вернулся обратно, сдал ящик с яблоками на хранение в баталерку

одной из частей морской пехоты и, замирая от волнения, приготовился смотреть и записывать.

На передовой было тихо и темно. И вдруг все вскочили со своих мест: не очень далеко на северо-западе послышалась артиллерийская пальба, а в промежутках - частая пулеметная дробь.

- Это где, это где? - заволновался Ковалевский.

Капитан третьего ранга Селезнев схватил планшет, посмотрел на карту и сказал:

- Да. Фьорд Маттивоуно. Не иначе, наш десант там высадился. Там и Акимов, ручаюсь!

У Ковалевского сжалось сердце - он достаточно ясно представлял себе, что значит десант в тылу противника, и не мог не вспомнить Аничку Белозерову и ее ребенка.

Немцы на Муста-Тунтури, услышав гром сражения за своей спиной, начали на всякий случай бешено обстреливать советские позиции на полуострове Среднем. Но здесь наша артиллерия молчала, как будто на позициях все уснули. И только позднее, через несколько часов, когда командование убедилось в полном успехе высаженного десанта, артиллерия, сосредоточенная на Рыбачьем и Среднем, начала свое наступление.

Артподготовка продолжалась полтора часа, затем стрелковые полки и части морской пехоты поднялись в атаку. Горноегерские войска генерала Рендулиц не оказали серьезного сопротивления, и хребет Муста-Тунтури вскоре покрылся лезущими вверх, цепляющимися за уступы скал советскими солдатами, осветился вспышками гранат и огласился торжествующими криками "ура".

Прибывшие вскоре офицеры штаба корпуса сообщили Ковалевскому, что десантные части перерезали дорогу на Поровара и тем самым привели в смятение немцев на Муста-Тунтури, что и решило успех прорыва.

Это было 10 октября.

Войска хлынули в западном направлении. Ковалевский сел в машину, которую к нему прикрепили по личному распоряжению командующего флотом, и, с трудом лавируя среди множества грузовых машин, вездеходов и артиллерийских орудий на гусеницах, поехал вслед за наступающими частями.

Несмотря на все события, он не забывал и о поручении Анички и спрашивал у каждого встречного-поперечного, где Акимов. Оказалось, что батальон Акимова действительно высадился вместе с другими частями у фьорда Маттивоуно, но где находятся десантные части теперь, никто толком не знал. Ходили слухи, что в ночь на 13 октября флот высадил десант морской пехоты вблизи военно-морской базы Линахамари. Моряки овладели этим портом и таким образом лишили немецкое командование возможности вывезти свои части из Линахамари морем. Может быть, Акимов находился там.

Наступающие войска продвигались довольно медленно, так как дорога тянулась по голому плоскогорью, покрытому разбросанными здесь и там кучами камней и изобиловавшему трясинами и болотами. За передовыми подразделениями шли инженерные части, которые прокладывали путь машинам и орудиям через эту убогую, болотистую тундру.

Часто машины застревали в трясинах, их быстро разгружали; снаряды уносили на плечах к ушедшим вперед пушкам, а машины выволакивали на руках из грязи. Бесперерывно шел дождь и снег, было холодно и сыро. Несколько раз застревала и машина Ковалевского, и он врывался в строй какой-нибудь идущей неподалеку части с требованием помочь ему



вытащить машину. Солдаты шли к нему на помощь без особой охоты, удивляясь, по какой такой причине старший лейтенант разъезжает на легковой. Но стоило ему заявить о том, что он корреспондент, как они дружно брались за дело - им было приятно, по-видимому, то обстоятельство, что некто со стороны видит их тяжелый труд и сумеет все это сделать, может быть, достоянием множества людей где-то там, на дальнем юге. Москва тут тоже считалась дальним югом.

Ковалевский разыскал военный телеграф штаба корпуса и передал полную восклицательных знаков корреспонденцию. Она начиналась словами: "Моя машина движется среди наступающих войск. Впереди - Печенга".

Печенга, или, как ее называли ранее по-фински, - Петсамо, уже была действительно близко. Окутанная туманом низина содрогалась от гула. Привезли на машине трех немецких пленных, очень пришибленных, измученных. Это были жители Тироля, прошедшие выучку в Альпах под руководством Шернера и Дитля. Они теперь имели жалкий вид, совсем не тот, что в начале кампании, именуемой в документах германского генштаба операцией "Голубой песок".

Потолковав с ними тут же возле машины, Ковалевский быстро набросал и передал по телефону очередную корреспонденцию, которую начал словами: "Вот они, "герои" Крита и Нарвика! Они медленно идут по тундре, низко опустив головы..."

На следующий день после взятия Петсамо Ковалевский был уже там. Он расспрашивал генералов и солдат, беседовал с моряками и пехотинцами. Ему казалось, что весь мир смотрит теперь на север.

Петсамо! Это было место, где базировались немецкие корабли, отсюда налетала вражеская авиация на многострадальный Мурманск. Теперь это место, казавшееся раньше таким опасным и недостижимым, находилось в наших руках.

Ковалевский приютился при штабе одной бригады и написал несколько корреспонденций. Первая из них начиналась словами: "Моя машина медленно едет по улицам освобожденной Печенги".

Истины ради следует сказать, что никаких улиц тут не было, а была одна-единственная улица, вернее - дорога, вдоль которой стояли редкие, раскиданные здесь и там деревянные строения.

О посылке для Акимова Ковалевский забыл, а вспомнив, почувствовал угрызения совести и побежал к находившемуся в городе представителю флота, чтобы узнать, где же наконец он может увидеть Акимова.

Ему сказали, что скорее всего Акимов находится в районе Линахамари. Ковалевский собрался туда, но тут выяснилось, что посылка с яблоками уплыла: часть морской пехоты, в которой она хранилась, пошла по направлению к норвежской границе.

- Ах, какой ужас! - воскликнул Ковалевский.

Эти яблоки стали его манией. Ему очень хотелось привезти их Акимову, обрадовать его, услышать слова благодарности. Еще бы: свежие яблоки на севере!

Он предвкушал удовольствие, которое доставит Акимову, и горькую радость, которую сам он, Ковалевский, испытает, рассказывая Акимову об Аничке, о маленькой Кате, о том, как хорошо Аничка выдержала экзамен в институт и как сильно любит она Акимова.

Решив, что эти известия все-таки важнее яблок, Ковалевский поехал в Линахамари, но

Акимов уже там не застал: за несколько часов до этого десантные части снова были погружены на корабли и ушли в море, в неизвестном направлении.

3

Морская пехота по приказу Военного совета погрузилась на десантные корабли, с тем чтобы высадиться - в третий раз за последние дни - в тыл и фланг немцам, но уже на норвежскую территорию.

План десантной операции был таков: впереди следовало десять катеров-охотников с передовыми отрядами. Следом за ними, примерно на расстоянии десяти миль, шел первый эшелон - отряд сторожевых кораблей и отряд тральщиков по десять вымпелов каждый, а еще в десяти - двенадцати милях позади - второй эшелон.

Погрузка происходила в полной тишине. Только поскрипывали сходни да позвякивало оружие.

Перед самой погрузкой приехал командующий флотом. Он прошел по берегу в сопровождении своих штабных офицеров от батальона к батальону, от роты к роте. То тут, то там вспыхивали карманные фонари, освещая адмиралу дорогу.

Подойдя к батальону Акимова, адмирал спросил своим картавящим говорком, известным всем морякам Севера до последнего кока:

- Кто здесь грузится?

Акимов отдал установленный рапорт. Командующий в сопровождении Акимова обошел морских пехотинцев, поговорил с ними и собрался идти дальше, потом внезапно зажег фонарик и осветил лицо Акимова. Рябоватое открытое лицо комбата было сосредоточенным и суровым.

Вдруг адмирал спросил:

- А не хочется вам обратно на корабль?

Акимов удивился. Ему показалось, что когда-то, неизвестно когда, он слышал обращенный к нему точно такой же вопрос, произнесенный тоже в темноте и тоже при свете карманного фонарика. Но он не мог вспомнить, было ли это на самом деле или ему только мерещится, что было.

- Командованию виднее, - ответил он уклончиво.

Адмирал выключил фонарик. Сразу стало очень темно. Помолчав, он сказал:

- Держитесь, Акимов. Вот еще эту операцию проведете, и я вас заберу обратно. Повоевали на суше - и довольно. Договорились?

- Есть, - сказал Акимов. И вдруг, пожалев адмирала, голос которого звучал устало и озабоченно, добавил: - Вы не беспокойтесь, товарищ командующий. Мы все сделаем.

Адмирал порывисто пожал руку комбата и, не сказав больше ни слова, пошел дальше вдоль берега. Свет карманных фонариков вскоре потерялся вдалеке.

Акимов подошел к предназначенному для него катеру-охотнику. На этом катере с ним должна была грузиться рота Козловского. Остальные роты шли в первом эшелоне.

Погрузка шла уже полным ходом. Матросы с катера в темноте негромко командовали

пехотинцами, распределяя их по кубрикам.

Кто-то из матросов добродушно говорил.

- Не забудь, Сережа, поставить чумички и ведра, а то начнут травить, заблюют нашу коробку. Море шквальное.

- Не бойся, не заблюем, - отвечал так же добродушно кто-то из пехотинцев. - Видали мы коробки почище твоей.

- Видали, видали. Брось курить, вот тебе и видали...

- Хе-хе...

Взойдя по сходням, Акимов с минуту поглядел, как его люди скрываются в люке и размещаются на палубе, потом пошел к мостику - познакомиться с командиром катера. От такого знакомства и, по возможности, дружеских отношений с хозяином десантного корабля во многом зависел успех высадки.

У самого входа на мостик Акимов столкнулся с кем-то из экипажа и, всмотревшись, узнал по грузной фигуре и пышным усам боцмана Жигало.

- Жигало! Иван Иванович! - воскликнул Акимов, все еще не веря своим глазам.

- Павел Гордеевич! Ей-богу, Павел Гордеевич!

Жигало крепко пожал протянутую ему руку и сказал:

- Ну и обрадуется наш-то!

Акимов быстро поднялся на мостик и заключил в свои объятия маленького лейтенанта, который от волнения даже стал заикаться и только повторял:

- Вот не ожидал...

Они не успели ни о чем поговорить, как был дан сигнал о выходе.

Шторм достигал семи баллов. Катер-охотник кидало, как щепку. "Баренцева бочка" выпустила на десантные суда всех своих чертей и водяных. Все это выло, визжало и исступленно кидалось на корабли.

Стоя рядом с Бадейкиным, Акимов время от времени вытирал рукой мокрое лицо и весело взглядывал на маленького командира. Тот с улыбкой, так необычайно украшавшей его плоское лицо, тоже посматривал на Акимова.

- Похудели! - крикнул Бадейкин.

- Что? - не расслышал Акимов за ревом ветра.

- По-ху-де-ли!..

- Нины Вахтанговны со мной не было!

- Хе-хе...

- Поздравляю! - крикнул Акимов.

- Чего?

- Не заметил раньше! С повышением, товарищ старший лейтенант!

- Спасибо! - улыбнувшись, сказал Бадейкин.

- Чего? - не расслышал Акимов.

- Спасибо-о-о-о!

Акимов рассмеялся:

- Ну и погодка!

- Где лучше? - изо всех сил прокричал Бадейкин. - У нас или в пехоте?

- Везде лучше! - захохотал Акимов, потом, наклонившись к Бадейкину, крикнул ему в самое ухо: - Поздравьте и вы меня! У меня дочь.

- Чего?

- Дочь, дочка, Катей назвали!

- Поздравляю!..

Огромная волна положила кораблик на правый борт.

- Держись, ребята! - крикнул Акимов своим пехотинцам, заполнившим палубу. Его сильный голос перекрыл шум ветра, и к нему вверх обратились мокрые лица. Они успокоительно улыбнулись ему. Рулевой Кашеваров на секунду отвернулся от штурвала и посмотрел на Акимова. И опять Акимов вспомнил себя молодым. Он потрепал рулевого по плечу, рулевой улыбнулся, что-то сказал, но Акимов не расслышал. Он посмотрел на своих людей, стоявших на палубе, и, угадывая под черными шапками знакомые лица Тулякова, Матюхина, Гунявина, Егорова и других, подумал с несколько ревнивым чувством, что нынешние его подчиненные несколько не хуже бадейкинских ребят и что с ними тоже можно делать большие дела.

От этих мыслей Акимова отвлекли знакомые очертания берегов. Темные скалы, отвесно спускавшиеся прямо в море, похожие как две капли воды на те скалы, которые были и раньше, чем-то неуловимым все-таки отличались от них. Это начинался Варангер-фьорд - тот самый, куда Акимов впервые плывал дублером на этом самом катере-охотнике. Вот там, немного дальше, катер высаживал Летягина с его разведчиками. Бадейкин тоже вспомнил об этом и, тронув Акимова за плечо, показал рукой на берег.

- Да, - сказал Акимов.

Он вспомнил, с каким содроганием думал тогда о том, как холодно и тяжело будет разведчикам на этом диком, неприветливом берегу. Сейчас ему самому придется высадиться здесь, и это вовсе не казалось ему таким уж страшным. Более того, вспомнив, что он высаживается на берегу чужой, но союзной страны, где местное население стонет под игом захватчиков, он с особенной гордостью почувствовал силу и значение того народа и тех вооруженных сил, к которым он принадлежал. В этот момент перед ним во всем своем величии предстал тот факт, что от Баренцева до Черного моря советские армии уже находятся за рубежами страны и что не только защита своего народа, а и освобождение других народов стало реальным, будничным, рабочим делом.

Акимов не мог не вспомнить свои комсомольские времена, овеянные не очень определенным, несколько абстрактным, но страстным и великодушным желанием освободить весь мир от произвола и угнетения.

Теперь мечта оделась в плоть и кровь, приобрела реальные очертания, разумеется, совсем другие, чем представлялось в юности, но тоже прекрасные. Действительностью были трепетание советского флага на мачте, гул мотора морского охотника, мерцание потаенных сигнальных огней, молчаливая сосредоточенность десантников на палубе, частый стук собственного не постаревшего сердца и темные очертания берегов чужой страны, ждущей избавления.

Эти берега все приближались, скалы становились все явственнее, все выше. Наконец охотники очутились меж двух горных гряд и вошли в неширокую горловину фьорда.

Хотя катера двигались без огней, при полном радиомолчании и даже перешли на подводный выхлоп мотора, но вскоре их с берега заметили, там появилась яркая вспышка, потом раздался гром выстрела, и неподалеку в море разорвался снаряд. С обоих берегов фьорда поднялась стрельба. Снаряды мягко шелестели над головами. Над фьордом зажглось несколько десятков осветительных ракет, медленно опускавшихся все ниже.

Бадейкин дал команду поставить дымовую завесу. Одновременно то же самое сделали и остальные охотники и тут же устремились к берегу, увеличивая этим движением глубину задымленной полосы. Фьорд покрылся стремительно крутящимися и вьющимися белыми дымами, так что ничего не стало видно кругом. А немецкие береговые батареи не переставая били наугад, и иногда среди дыма вспыхивали неясные багровые огни разрывов и к небу подымались необычайной красоты изумрудные столбы воды.

Бадейкин хорошо знал эти берега и не беспокоился о том, как приведет свой катер к нужной точке побережья. Он только остро тревожился за Акимова, ему было очень жалко товарища, которому предстоит бой, а потом продвижение в этой неуютной местности, где негде ни обсушиться, ни отдохнуть. "То ли дело у нас, моряков, - думал Бадейкин, вытирая со щек соленую воду, превращающуюся в лед, - не надо было ему уходить в пехоту".

В этот момент поступил сигнал о высадке.

Катера были уже у берега. Корабельные пушки и пулеметы дружно работали, очищая, по возможности, берег от неприятеля. Осветительные ракеты немцев лихорадочно прыгали вверх и плясали в небе. От них стало светло, и бурное море, брызги прибоя, перекошенные лица матросов - все вырисовывалось очень отчетливо, хотя резкие тени делали все это более пронзительным и мрачным, похожим на моментальную фотографию.

Рядом разорвался снаряд, осколки завизжали вокруг. Станковые пулеметы затарахтели по сходням. Разорвался второй снаряд. Кто-то охнул. Кто-то упал в воду. Темные тени десантников метнулись со сходней и рассыпались по берегу. Третий снаряд упал еще ближе.

- Завести пластырь! - хрипло крикнул Бадейкин.

"В катере пробоины", - понял Акимов, но ему было уже не до того, все мысли его уже были на берегу, где вступали в бой его люди. Он даже не простился с Бадейкиным - забыл или не смог и, только ступив на сходни, на мгновение ощутил в сердце острую боль, чувство безмерной вины перед товарищем, которого он обязан был покинуть в беде.

Уже у самого берега его бросило в сторону взрывной волной. Он упал в воду и ухватился за выступ скалы. В ушах гудело. Ему вдруг стало жарко, и, оглянувшись, он увидел, что катер горит. Он рванулся было назад, но взял себя в руки и, проглотив едкую и горькую слюну, пошел вперед на берег. Последнее, что он видел на катере-охотнике, был боцман Жигало, который сидел у своего пулемета и бил длинными очередями по береговым укреплениям немцев, несмотря на то что сзади его горело, шипело, взрывалось.

- Вперед, вперед, - негромко и настойчиво повторял Акимов, продвигаясь все дальше. Рядом с комбатом полз Матюхин, а немного позади корректировщики с кораблей. Они ползли с радиостанцией, с тем чтобы направлять стрельбу корабельных комендоров по наземным целям.

Сухая и горькая злость распирала грудь Акимова. Он старался не оборачиваться, но, пригнувшись к земле и вдыхая незнакомые запахи чужого берега, не мог не учуять и того запаха горелой краски, который доносил до него ветер с фьорда. Среди гула стрельбы, рева прибоя, сопения ползущих рядом моряков, стука расставленных на флангах пулеметов он не мог не слышать позади себя скрежета, сильных всплесков, мелких взрывов, тревожных криков на тонувшем охотнике.

- Вперед, вперед, - говорил Акимов негромко, медленно продвигаясь к тому высокому месту, откуда он решил руководить боем. Здесь уже находился лейтенант Козловский. Отсюда Акимов осмотрел находящееся перед ним, отлого вздымающееся вверх поле боя, по которому ползли десантники.

Передние из них уже находились в кабельтове от берега, но теперь залегли. Десант захватил небольшой плацдарм, шедший правильным полукружием. Слева, там, где упрямо бил пулемет Тулякова, шел самый упорный бой. Находившаяся у подножия скалы хорошо укрепленная немецкая береговая батарея, по-видимому, имела сильное пехотное прикрытие. Стрельба оттуда становилась все ожесточенней.

Распорядившись, чтобы корректировщики сообщили на корабли об этой помехе, Акимов пополз вдоль фронта залегших пехотинцев.

- Товсь, - говорил он негромко, и моряки, услышав знакомое моряцкое слово, произнесенное голосом комбата, понимающе кивали головами.

По береговой полосе, а потом все ближе стали рваться мины из невидимых вражеских минометов. Их безобразное кряхтение рвало уши.

Акимов прислушался. Наконец корабельная артиллерия дружно ударила по левому флангу, там что-то вспыхнуло и загорелось.

При дрожащем свете пожара на мгновение стало видно все кругом: однообразные скалы, поросшие лишайниками и мхом, карликовые ивы, темные сарайчики на вершине скалы.

- Что ж, - сказал Акимов, вставая и вынимая из кобуры пистолет.

Матюхин поднял ракетницу и дал в небо одну за другой три красные ракеты.

Все встали вслед за Акимовым, и, как по уговору, рванули на груди гимнастерки, словно им было жарко. Матюхин не спеша вынул из кармана бескозырку и надел ее, а шапку также не спеша засунул за пазуху шинели.

Сколько раз аккуратист Мартынов сердито журил моряков за этот обычай, нарушающий воинскую форму. Они выслушивали его упреки, каялись и в первом же бою делали то же самое.

В грозном жесте морских пехотинцев было больше чем желание показать миру свои матросские тельняшки - примету моряков, то есть людей, не знающих страха. В этом жесте было и отречение от жизни, и гордое презрение к смерти.

- Вперед-ед! - крикнул Акимов, сам опьяняясь страшным напряжением этого мига.

Все рванулись вперед. Морская пехота молча, без выкриков, но неодолимо и размашисто

шла вверх по отлогому склону. Достигнув гребня скал и перевалив через него, матросы бросились вперед по плоскогорью бегом. Здесь стало очень темно - осветительные ракеты перестали взлетать, вероятно потому, что немецкие ракетчики бежали. Моря уже не было видно: оно пропало за скалами, и все, что находилось там, на море, - родные корабли, родные люди, родные флаги, возможность вернуться морем домой, все это казалось уже нереальным и очень далеким.

Акимов задержался на гребне, чтобы не потерять из виду свои фланги и фьорд. Корректировщики снова развернули рацию. Матюхин дал ракеты, обозначавшие новый передний край. Все тяжело дышали. Мимо поползли раненые - они двигались к морю. Связные прибывали со всех сторон и, доложив обстановку, исчезали в темноте. Наступило затишье - фальшивая тишина, настороженная и пугающая. И сразу же снова стало светло от ракет.

- Начинается, - сказал Акимов.

Стрельба с немецкой стороны все разрасталась.

Слева бежал человек. Он то пригибался к земле, то снова подымался, и при свете ракет видно было, как блестят его глаза не то от страха, не то от озорства. Он еще издали крикнул, - казалось, весело:

- Жмет немец, мать его так... - Узнав комбата, он осекся, встал смирно по всей форме и доложил: - Противник контратакует, товарищ капитан третьего ранга! Туляков просит помощи.

Акимов с полминуты разглядывал его, но так и не узнал матроса - все его лицо было вымазано землей и кровью.

Глядя вперед, на пляшущие тени деревьев, Акимов спросил:

- Людей сколько осталось? - Так как матрос не отвечал, думая, что комбат обращается не к нему, а куда-то вперед, Акимов сказал: - Тебя спрашивают.

Матрос осмотрелся, потом подошел к Акимову вплотную и сказал ему почти на ухо:

- Мало.

- Пойдешь туда, - сказал Акимов Козловскому. - Возьми человек десять.

Лейтенант сказал "есть" и стал спускаться по скалам во главе своих людей. Надульные тормоза ручных пулеметов поблескивали на свету. Матрос с окровавленным лицом побежал впереди лейтенанта, странно подпрыгивая и что-то бормоча. Только теперь Акимов узнал в нем Егорова.

Опять стало тихо. Немецкие снаряды рвались у самого берега. "В чем дело?" - удивился Акимов и в это же мгновение услышал позади себя топот многочисленных ног.

- Акимов! - крикнул кто-то снизу, и через несколько минут подле Акимова почти упал запыхавшийся от бега капитан-лейтенант Мартынов.

- Прибыли, - сказал он.

Вокруг стало тесно от людей. Все гудело и кричало. Кинув прощальный взгляд на море, на стоявшие там корабли, мысленно попрощавшись с друзьями, живыми и мертвыми, Акимов пошел во главе батальона. Рев приборя все отдалялся, пламя ракет уже казалось далеким заревом. Батальоны вытянулись по каменистой дороге, все более углубляясь в тесные

дефиле незнакомого побережья.

Во время краткого привала Акимов собрал командиров.

- Егоров что, ранен? - спросил он.

- Ранен, но остался в строю.

- Буйков?

- Ранен, но остался в строю.

- Семенов?

- Убит.

- Левашов?

- Убит.

- Сотников?

- Ранен в голову, эвакуирован.

- Бойченко?

- Ранен, остался в строю.

Мартынов умывался, тщательно тер руки белой щеточкой с костяной ручкой. Его бритвенный прибор стоял на большом камне. Рядом на костре грелась вода для бритья.

Он сказал:

- Надо представить отличившихся к награде.

Акимов посмотрел вниз, на лежавших вповалку моряков, и усмехнулся: .

- Им сейчас не ордена, им бы поспать. Ох, как нужно поспать. - Он тяжело поднялся с места и сказал: - Брейся скорее. А вы давайте команду строиться. Пойдем на Киркенес.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Берег

(окончание)

1

Города Киркенеса не существовало больше. Он был весь, дом за домом, сожжен и взорван войсками Гитлера перед их бегством. Угольные кучи, лежавшие всюду вдоль побережья, тоже подоженные немцами, тлели синими мерцающими огоньками, насколько хватал глаз. Все кругом, как на Смоленщине и в Белоруссии, пахло горьким и сладковатым запахом пожара и разрушения, мучительно знакомым запахом, который нельзя никогда забыть.

Всюду было очень тихо и мертво, и только каждые полчаса немцы, еще находившиеся на расположенном напротив города скалистом острове Скугеррее, тупо и упрямо выпускали по городу два-три пушечных снаряда. Снаряды взрывались на выжженных дотла улицах,



вызывая гулкое эхо.

Акимов и его люди обошли молчаливым дозором пустынный город. Улицы угадывались только по торчавшим там и сям дымоходам да по чистеньким садовым заборам из стальной сетки или штакетника. Удивительно чисты и опрятны были улицы этого не существующего уже города, на которых валялась только бесконечная путаница цветного немецкого телефонного провода. На мысу должна была стоять обозначенная на карте церковь, в честь которой названо это место\*, но и церкви не существовало, от нее осталась лишь часть кладбищенской ограды.

---

\* К и р к е н е с - церковный мыс (норвежск.).

Пошли влево к заводу "Сюд-Варангер". Одна из труб завода сохранилась, а другая валялась в виде огромной кучи кирпича. Здесь тоже было тихо. Ни живой души кругом.

- Все ясно, - сказал Акимов. - Тут побывали те же самые немцы, что и под Оршей. Узнаю ухватку.

- И те же, что под Ленинградом, - мрачно дополнил Мартынов, прислушиваясь к очередному бессмысленному артиллерийскому обстрелу.

Акимов связался по радио с командованием и получил приказание оставить в Киркенесе одну роту, а с остальными идти в поселок Бьерневатн, там расположиться и ждать дальнейших распоряжений.

Оставив на побережье роту Миневича и выделив ему боеприпасы и продовольствие на три дня, Акимов во главе батальона пошел опять через заваленные обломками улицы и, миновав их, вышел на дорогу.

Дорога шла к югу. Рядом, среди посыпанных снежной порошей тундровых болот, чернела узкоколейка, кое-где на ней сиротливо торчали одинокие тачки, ржавые и тоже присыпанные снежной крупой.

Поселок Бьерневатн пострадал меньше, чем Киркенес. На высоких флагштоках возле здешних домиков тут уже развевались норвежские национальные флаги - красные, разделенные на четыре поля большим синим крестом с белой окантовкой. Жители появились на улице и со сдержанным ликованием встречали советские части. Они жили в шахтах и щелях на окраине поселка. Солдаты и матросы сочувственно вглядывались в измученные, давно не мытые лица норвежцев.

Акимов разместил своих людей в длинном красном деревянном здании, по-видимому бывшей бане, и еще в трех домах, в которых до последней минуты размещались немцы, - по этой причине они не успели взорвать дома. Здесь сохранились нары и байковые одеяла военного образца.

Все, кроме дежурных, сразу же легли спать, даже не дожидаясь, пока батальонная кухня приготовит еду, неизвестно - завтрак, обед или ужин, так как люди потеряли счет времени.

Покончив со всеми делами по размещению людей, Акимов собрался было тоже поспать, но тут до его ушей, наполовину оглохших от многодневного гула артиллерии, дошел детский плач, раздававшийся где-то неподалеку. Акимов вышел на улицу. Матюхин, еле живой от усталости, не решился лечь, видя, что комбат не ложится, и пошел за ним. Акимов направился к шахтам. В глубине шахт слышались женские голоса, урезонивавшие плачущих детей.

Акимов вошел в темное отверстие подземного коридора. Увидев детей, он впервые почувствовал, что он отец, - раньше он это только знал, но не чувствовал. При свете карбидных ламп детские лица казались удивительно бледными, возбуждали жалость и тревогу за находящуюся далеко в Москве маленькую девочку. На стоявших молча у стен норвежцев Акимов теперь смотрел тоже не просто как на обездоленных захватчиками иностранцев, а как на людей, принадлежащих к тому же племени, что и он, Акимов, - к племени озабоченных отцов.

Они были почти все высокого роста, белесые, с обветренными лицами рыбаков и приморских жителей, одетые почти сплошь - в том числе и женщины - в цветные вязаные джемперы и лыжные брюки.

Акимов стоял в нерешимости, не зная, что делать, когда вдруг из глубины шахты к нему быстрыми шагами подошел человек в советской военной форме. Акимов узнал Летягина и, обрадовавшись, пошел ему навстречу.

- И вы здесь? - спросил Летягин. Его бледное лицо выразило живейшее удовольствие. Потом он показал рукой на все окружающее и печально проговорил: - Видите, что творится? Немцы все взорвали, рыбацкие суда и мотоботы угнали, так что норвегам даже нельзя рыбу ловить. Голодают.

Акимов, подумав, сказал:

- На первый случай могу накормить человек двести. У меня кухня на ходу.

Просветлев, Летягин сказал несколько слов норвежцам, и те быстро разошлись по шахтам, скликаая женщин и детей.

Женщины и дети вмиг поднялись со своих мест и пошли вслед за Матюхиным к полевой кухне. Акимов не мог не заметить и не оценить того обстоятельства, что мужчины не пошли с женщинами, а остались на месте.

- Пусть и они идут, - сказал Акимов. Он усмехнулся: - Иисус, говорят, пятью хлебами целую дивизию накормил. Я побогаче его. У меня резервы большие: два дня воевали, почти не евши. - Помолчав, он мрачно заметил: Да и народу в батальоне поубавилось.

Акимов и Летягин медленно пошли вслед за норвежцами в расположение батальона. Повар, он же пулеметчик, Дерябин, толстый и добродушный, как и полагается быть настоящему корабельному коку, с помощью Матюхина реквизировал у спящих моряков все котелки и разливал не бог весть какую, но жирную и сытную пшеничную кашу норвежским женщинам и детям. Завидев комбата, повар крикнул:

- А с хлебом как, товарищ капитан третьего ранга? Хлеба им давать?

- Давай, - сказал Акимов.

Он был очень доволен, что встретил Летягина. Разведчик был молчалив, но все, что касается севера Норвегии, он очень хорошо знал, бегло говорил по-норвежски и вообще чувствовал себя здесь, на чужой земле, как дома. Норвежцы тоже относились к Летягину по-особому, с очевидным доверием и дружелюбием. Многие знали его, видимо, с тех времен, когда он тут действовал в немецком тылу. Они изменили фамилию разведчика на свой лад и называли его "лет-егер", то есть "легкий охотник", вкладывая в это прозвище особый смысл.

- Где вы тут питаетесь? - спросил Акимов.

- Везде, - улыбнулся Летягин.

- А может, нигде? Переходите ко мне на довольствие.

- Спасибо, - сказал Лягушка и обернулся: - Вот комендант сюда идет.

Комендант, седой армейский полковник, подошел в сопровождении старшего лейтенанта, с минуту поглядел на обедавших норвежцев и спросил у Акимова:

- Вы командир части?

- Я.

- Хорошо сделали.

Он представил Акимову старшего лейтенанта:

- Переводчик Логинов.

Переводчик был очень молодой человек в роговых очках, с живым и красивым лицом. Он сразу преисполнился симпатии к моряку, особенно когда узнал, что тот проявил такую хорошую инициативу. Полковник, снова с минуту внимательно поглядев на обедавших норвежцев так, словно впервые видел, как люди едят, отдал приказание, чтобы все воинские части, расположенные в поселке и вокруг, покормили местных жителей до подхода вторых эшелонов, когда можно будет наладить плановое снабжение продовольствием.

Логинов вскоре привел бургомистра, такого же высокого и белесого, как все остальные норвежцы. Бургомистр робел. Он прятался где-то в развалинах и не знал, что происходит в Киркенесе и вокруг города. Логинов с трудом разыскал его и не без торжественности передал ему, как представителю союзной администрации, гражданскую власть.

Лягушка предложил коменданту и бургомистру зайти к местным жителям в шахты. Разведчик проявлял необычайную заботу о норвежцах и как бы в оправдание себе бормотал:

- Они славный народ, эти норвеги. Мне много раз помогали.

Снова поглядев на озябших детей, бедных женщин и мрачных мужчин, Акимов сказал, вздохнув:

- Придется уступить им дома, черт побери! - словно устыдившись своей мягкости, он досадливо добавил: - Опять солдатам жить в пещерах да землянках. А что поделаешь?

Полковник хмуро возразил:

- Нашим солдатам отдохнуть надо. Они тоже люди. - Минуту погодя он развел руками, его квадратное злое лицо вдруг приобрело выражение беспомощности и грусти, и он сказал: - А в общем, вы правы, майор. Как-то неудобно, нехорошо. Дети. Да, да, Логинов. Пишите распоряжение освободить все уцелевшие дома. Ладно.

Логинов тут же сообщил о решении коменданта бургомистру, который при всей своей сдержанности не мог не выразить удовольствия, смешанного с некоторым удивлением.

Акимов пошел к себе в батальон. Во всех домах и в бывшей бане спали его люди. Они лежали в разнообразнейших позах и тяжело дышали. Дневальный дремал у топившейся круглой железной печи. Один только Егоров услышал, как вошел комбат. Он открыл глаза, приподнялся с места и укоризненно произнес:

- Вы бы легли, поспали бы, товарищ капитан третьего ранга.

Акимов рассеянно сказал:

- Скоро лягу.

Егоров показал на свою тельняшку и, улыбаясь, проговорил:

- Разделся. Пожалуй, что в первый раз за два года в одном белье. Хорошо.

Акимов побагровел и отвернулся.

- Может, тебе перину и грелку дать? - сказал он хмуро и растолкал дневального: - Поднимай всех.

Все вскочили со своих мест и начали быстро одеваться.

Объяснив в кратких словах, зачем их будили, Акимов закурил и собрался уходить, но все не уходил, все медлил. Он настороженно вглядывался в лица моряков, молча надевающих шинели и скатывающих одеяла. Он искал в их лицах выражения неудовольствия, но, к своей радости, не находил ничего похожего, ни тени досады, ни намек на ропот. Они, несомненно, восприняли приказ как нечто само собой разумеющееся.

## 2

Акимов оставил за батальоном только помещение бани, где разместились кухня, столовая, нечто вроде клуба и батальонная канцелярия. Остальные дома были очищены, и в них вселились женщины, дети и старики.

- Вот мы и в подходящем для нас помещении, - усмехнулся Акимов, насмешливо оглядывая землянку, куда он перебрался вместе с другими офицерами. - Матюхин, наводи порядок.

Дерябин принес офицерам жареной рыбы.

- Свеженькая, - сказал он, улыбаясь. - Только что наловили.

Поели и улеглись спать. Кругом все стало тихо - матросы тоже спали. Только Матюхин не лег, он ушел куда-то, принес столик, несколько стульев, карбидную лампу, таз для умывания и даже полуобгоревшую ковровую дорожку, которую постелил у входа. Вскоре землянка приняла приличный вид упорядоченного фронтального жилья. Удовлетворенно улыбнувшись, вестовой тоже собрался лечь, но ему помешали: пришел переводчик Логинов в сопровождении пожилого норвежца.

Матюхин угрожающе зашептал:

- Тише. Спит комбат. Не спал целую неделю.

- Как же быть? - виновато сказал Логинов. - Нужно. Честное слово, нужно.

Пожилый норвежец оказался местным пастором и просил разрешения прочитать проповедь в помещении бани, поскольку это помещение являлось наиболее вместительным из всех оставшихся в поселке, уже не говоря о городе.

Акимов потер лоб и посмотрел мутными глазами на Логинова и норвежца, не понимая, где находится и что от него хотят.

Наконец он все вспомнил.

- Да мы же в Норвегии, - сказал он. - Значит, вы говорите, проповедь?

Мартынов, услышав разговор, открыл глаза и вскочил на ноги.

- Нет, нет, нет, - сказал он, негодуя. - У меня там все украшено, портретами и лозунгами. Как же так - религиозная проповедь!

Акимов рассмеялся. Было действительно смешно смотреть, какие сердитые, почти ненавидящие взгляды бросал политработник на смущенно мнущегося в углу лютеранского священника.

- Нет, ты не смейся, - рассердился Мартынов. - Я не могу разрешить в краснофлотском клубе исполнение религиозных обрядов.

На этот счет завязалась короткая дискуссия, в ней живейшее участие принял и вестовой Матюхин, который высказался в том смысле, что "пусть молятся, у нас-де молиться никому не запрещают, кто хочет тот молится..."

- Глас народа - глас божий, - засмеялся Акимов.

Не прошло и часу, как в клуб начали собираться норвежцы с женами. Они чинно уселись на скамьи с молитвенниками в руках, а так как скамеек было мало, то многие стояли. Пастор пришел в длинном сюртуке. Его узкое и обветренное, как у рыбака, лицо было торжественно и несколько печально, как у всех духовных лиц на всем земном шаре во время богослужения, в том числе у ковровского попа, отца Василия, которого Акимов помнил с детства.

Пастор встал под портретами и начал говорить. Логинов остался слушать проповедь и потом сказал Акимову, что лучшую речь не мог бы произнести и агитатор. Пастор благодарил советских солдат и командование советских войск и призвал своих прихожан оказывать содействие этим войскам и молиться богу за освобождение всей Норвегии и за полный разгром нечестивых германских армий. После этого все запели какой-то гимн.

- Что ж, это неплохо, - успокоился Мартынов, - только зря он тут припутал бога.

После проповеди пастор в сопровождении бургомистра и еще двух, по-видимому, видных граждан пришел к Акимову поблагодарить за разрешение и за доброе отношение к населению.

Логинов представил их по-русски:

- Ульсен, учитель. А это Виккола, кулак, большая сволочь. С немцами сотрудничал. Скупщик трески и семги, оптовик, владелец всех здешних лавок.

Он говорил эти слова серьезно и громко, и Акимов еле сдерживался, чтобы не рассмеяться прямо в красное, надутое, смертельно серьезное лицо Викколы, неподвижное лицо, на котором только глазки бегали во все стороны.

Акимов, не будучи дипломатом, не пожелал ему подать руку, а только слегка наклонил голову. Подняв же ее, он взглянул прямо в глаза Викколы, и у того судорожно затрепетали веки.

- Боишься, толстяк? - спросил Акимов, и Логинов, чуть улыбнувшись, поспешил перевести эти слова на норвежский язык так:

- Чем могу служить?

Норвежцы начали говорить по очереди - сначала бургомистр, потом пастор, потом учитель, наконец Виккола. Этот говорил длиннее всех, говорил очень спокойным голосом, только его веки предательски трепетали.

- Он говорит, - перевел Логинов, - что счастлив приветствовать русские победоносные войска.

Он говорит далее, что жители Киркенеса довольны окончанием войны и будут честно выполнять все указания его величества короля Хокона, норвежского правительства в Лондоне, а также советского командования. Он нахально заявляет, что рад освобождению от ига захватчиков. Большая сволочь.

Неизвестно, понял ли что-нибудь Виккола из этого перевода или, может быть, прочитал в глазах Акимова чувства сына и внука ткачей к кулаку и эксплуататору, но, уходя, он низко и подобострастно кланялся, упорно избегая глядеть в глаза советским офицерам.

Акимов с Логиновым вышли проводить норвежцев. Они обратили внимание на то, что поселок очень оживился. Из лесных убежищ, из расселин плоскогорья возвращались люди, мужчины и женщины с детьми, с велосипедами, с рюкзаками за спиной. Акимов, улыбаясь, смотрел на маленьких девочек, довольно нарядно одетых, в красных вязаных шапочках с помпончиками. Цепко держась за руки отцов и матерей или за седло велосипеда, они почти бежали, еле поспевая за широким шагом родителей, и, пока не исчезали из виду, все оглядывались с любопытством на русских.

Далеко на севере по-прежнему светились синие язычки пламени - все еще продолжали гореть угольные кучи.

Акимов повернулся к Логинову:

- Почему они не гасят уголь? Жалко, добро пропадает, а у самих в домах топить нечем.

Логинов сказал несколько слов бургомистру, тот помолчал, подумал, потом произнес:

- Дэ эр икке ворт.

- "Это не наше", - перевел Логинов, засмеялся добрым, чуть визгливым смехом и объяснил Акимову: - Уголь принадлежит не магистрату, а заводу. Придется нашим солдатам спасать их уголь.

Норвежцы ушли. Собрался уходить и Логинов, но тут показался еще какой-то старик норвежец, направившийся прямо к землянке. Увидев Акимова, он остановился на некотором отдалении и пристально на него посмотрел. Убедившись в чем-то, известном только ему самому, он подошел ближе и снял свою широкополую брезентовую шляпу. Серые волосы прямыми прядями упали на широкий лоб. Он заговорил неторопливо, монотонно и очень грустно, глядя светлыми немигающими глазами в пространство между Акимовым и Логиновым.

- У него моторную лодку наши ребята угнали, - сказал Логинов, покраснев. - Рыбак он, зовут его Коре Педерсен. От немцев, говорит, я ее укрыл, спрятал, а русские оказались ловчее, нашли. Некрасиво. Безобразие. Стыд и срам, честное слово.

Акимов вдруг рассердился:

- Сразу "стыд и срам"! Война ведь, тут города горят, а вы покраснели, как девица, - лодку, видишь ли, угнали... Можно подумать - ужасная катастрофа, конец света, на весь мир опозорились... - Посмотрев на старого рыбака, стоявшего молча и неподвижно со шляпой в руке, он осекся и угрюмо закончил: - Скажите ему, что мы разберемся.

Когда Логинов и старый Педерсен ушли, Акимов подумал, покурил, потом пошел к землянке, где располагались роты.

Люди спали, и очень не хотелось их будить из-за какой-то дурацкой, никому не нужной лодки. Он постоял, постоял, покосился на Егорова, спавшего в сапогах и шинели, повернулся уходить, но потом остановился и хрипло сказал дежурному:

- Буди.

Когда все были выстроены, Акимов спросил:

- Кто взял лодку?

С минуту длилось молчание, наконец вперед выступил главстаршина Туляков и хладнокровно переспросил:

- Это вы про какую лодку, товарищ комбат? Я брал лодку.

Акимов удивился.

- Зачем? - спросил он.

Туляков помялся с минуту, потом сказал:

- Рыбу ловили.

- Какую такую рыбу? Зачем рыбу?

- Для вас, товарищ комбат, - негромко сказал Туляков.

- Для меня? - Акимов побелел. - А почему вам кажется, старшина, что я без рыбы жить не могу? А? Вы меня жалеете, да? Хотели мне удовольствие сделать, а для этого опозорили меня и себя на весь мир? Где лодка?

- Я оставил ее там, где взял.

- Вольно, - сказал Акимов, обращаясь к матросам. - Разойдись.

Все не без чувства облегчения исчезли в землянках, оставив с комбатом одного Тулякова.

- Пошли, - сказал Акимов.

Они пошли, Туляков впереди, Акимов за ним. Шли долго, наконец справа показался узкий фьорд. Туляков уверенно шел вдоль фьорда, потом, постояв и подумав, направился к берегу. Здесь, в расщелине меж скал, стояла лодка.

Акимов спросил:

- Где ты ее взял? Здесь?

- Кажись, здесь.

Акимов огляделся. Немного выше по фьорду, шагах в трехстах, за низким заборчиком чернелась небольшая рубленая хижина.

Акимов пошел к хижине. На заборчике сушились сети. Акимов перешагнул через заборчик и постучал в дверь. Ему открыли. Девичий голос что-то спросил по-норвежски.

- Педерсен? - спросил Акимов.

Девушка ответила "я", то есть "да", - это слово Акимов знал, оно так же звучало по-немецки.

- Коре Педерсен? - спросил Акимов.

- Дэн гамельман эр утэ и шээн\*, - сказала девушка нараспев, неожиданно напомнив Акимову южнорусский говор.

---

\* Старик в море (норвежск.).

- Гамельман! Что за гамельман? - сказал Акимов, почесывая за ухом. Придется за переводчиком сходить.

- Гамельман - это по-ихнему старик, - объяснил Туляков, чуть усмехнувшись.

Акимов обозлился:

- Ух, и грамотный же ты! Уже по-норвежски умеешь. А ты бы у этого самого гамельмана лодки не брал, вот это было бы лучше!

Он поманил девушку за собой и повел ее к скалам, где стояла лодка. Она шла вначале боязливо, но потом, увидев лодку, вскрикнула, обрадовалась.

- Вот, - сказал Акимов, обернувшись к Тулякову. - В следующий раз, если захочешь что взять, спроси у хозяина. И возврати ему в руки. Понял?

- Понял.

- Смотри. - Акимов двинулся в обратный путь. После долгого молчания он сказал: - Еще наделаешь международных осложнений, так что Наркоминделу придется писать объяснительные ноты. И из-за кого? Из-за главстаршины Ильи Тулякова, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, члена ВЛКСМ. Нехорошо, Туляков. Иди.

Делая выговор Тулякову, Акимов был не совсем искренен. По совести говоря, он никак не мог обвинить старшину. В конце концов лодку Туляков, правда, взял, но вернул ее в полном порядке, - не в хижину же было ее тащить к старику. Оставил на воде почти рядом с домом.

Все дело выяснилось позднее, когда пришел Летягин. Акимов вместе с офицерами обедал и пригласил Летягина к столу. И как раз в это время в шахту ввалился старик Педерсен.

Он был очень оживлен и весел. Его светлые глаза, ранее полные почти трагической неподвижности и скрытого упрека, теперь комично щурились и счастливо мигали. С Акимовым и другими офицерами он теперь держал себя запросто, даже с оттенком стариковской снисходительности. Теперь они были в его глазах просто необычайно симпатичные молодые люди, свои ребята, правда одетые в иностранный мундир. Эта неожиданная форма глубокой, но сдержанной благодарности очень, позабавила и растрогала Акимова.

Он попросил Летягина поговорить со стариком, и вот что оказалось: земля у фьорда, поскольку она является частной собственностью, разрезана на участки. Туляков взял лодку на крошечном собственном участке земли старого рыбака, а оставил ее у кусочка берега, принадлежавшего другому владельцу.

Старик в этой связи с полной серьезностью объяснил, что не может же он идти на чужой участок искать свою лодку, что участков много и не каждый разрешит постороннему человеку шляться по своей земле.

- Да, здесь так живут, - сказал Летягин.

Действительно, вся здешняя земля, включая острова, была поделена на маленькие, крохотные владения, у границ которых нередко стояли столбики с надписью "Adgang forbudt", - то есть "Вход воспрещен", - и за этими столбиками, на бедных хуторах, к которым вели "частные дороги", среди чахлах капустных грядок, тощих покосов и низкорослых берез, жили



владельцы - каждый у себя и за себя. А вокруг вздымалась ничья земля бесплодного плоскогорья, где все лето паслись, дичая, олени лопарей.

Старого рыбака усадили обедать, и он жадно ел все, а в особенности черный ржаной хлеб, о котором здесь почему-то ходили слухи, что в него запекается сливочное масло.

- Ну и ну! - опешил Акимов. - Чего только не придумают люди!

Как бы в подтверждение этих слов, старик осторожно спросил, правда ли, что русские тут останутся навсегда, захватят всю Норвегию и конфискуют все лодки, земли, леса, скотину и всех жен. ("Молодых только, надо думать?" - спросил он, хитренько щуря бледно-голубые глаза).

- Это все квислинговцы орудуют, - угрюмо сказал Летягин после того, как что-то долго и сердито объяснял старику. - Разные викколы, кулачье всякое. - Он взглянул на возбужденного Мартынова и предостерегающе произнес: - Нас, товарищ капитан-лейтенант, это не касается. Этим должна заниматься норвежская администрация. Есть такая инструкция из Москвы.

Старый рыбак, пообедав, ушел, вскоре поднялся и Летягин. За ним явились разведчики.

- Далеко? - спросил Акимов.

- Дня через два вернусь, - сказал Летягин.

- И сразу к нам приходите. Ладно?

- Ладно, приду, - ответил Летягин. - У вас хорошие люди.

Акимов вышел проводить Летягина.

- До свидания, товарищ Акимов, - сказал Летягин. Разведчики, стоя плотной и темной кучкой посредине улицы, дожидались его.

- Счастливо.

Летягин пошел было, потом вдруг остановился и, обернувшись к Акимову, проговорил:

- Помните ведь Бадейкина?

- Да, - сказал Акимов.

- Верно, вы же с ним служили. Его катер затонул при высадке десанта. Сам он тяжело ранен.

- Да? - сказал Акимов.

Летягин с разведчиками скрылся за поворотом дороги. Акимов внезапно почувствовал себя очень усталым, почти больным, и ему захотелось скорее лечь спать, и не на час, а на очень долго, так, чтобы, проснувшись, он мог многое забыть и чтобы из его ушей пропал непрекращающийся гул, который все еще раздавался в них. Он прошел мимо домов, в которых уже жили норвежцы. Двери открывались и закрывались. Люди таскали спрятанные и закопанные пожитки к себе в дома.

- Вот и хорошо. Вот и прекрасно, - бормотал Акимов.

Его окликнул лейтенант Венцов, дежуривший по батальону:

- Радиограмма.

- Посветите, - попросил Акимов.

Лейтенант зажег фонарик.

Акимов прочитал, сказал: "Так, так", - и вошел в землянку. Лейтенант Козловский сидя спал с гитарой в руке. Матюхин дремал в углу. Услышав шаги комбата, он вскочил, самодовольно улыбнулся, обвел рукой убранную, обставленную мебелью и завешанную плащ-палатками землянку и спросил:

- Ну как, товарищ капитан третьего ранга? Не хуже, чем бывало у вашего Майбороды?

- Пожалуй, не хуже, - сказал Акимов, не взглянув на убранство землянки. Он вынул карту и стал изучать маршрут, проставленный в радиограмме. Путь шел через тундру к реке Тана-эльв. Река эта, очень длинная, впадала в Тана-фьорд. Населенных пунктов по дороге не было.

Матюхин внимательно посмотрел на комбата, вздохнул и начал покорно сворачивать одеяла и собирать посуду.

- Где Мартынов? - спросил комбат.

Замполит, оказывается, ушел в роты проверять, все ли спят.

- Спят, спят! - вдруг рассердился Акимов. - Уже поспали, хватит!

Он выругался и бросил через плечо Венцову, стоявшему на пороге:

- Давай команду "в ружье".

Послышались удаляющиеся шаги Венцова. Акимов постоял неподвижно, прислушиваясь. Козловский сладко похрапывал, и не хотелось его будить. Тишина длилась еще минуты две, потом все кругом задрожало от топота ног, тревожных выкриков и лязга оружия. Акимов постоял еще минут пять, наконец услышал громкую команду: "Становись!" Вошел Мартынов - такой же прямой, опрятный и собранный, как всегда. Он без слов подошел к столику, прочитал радиограмму и сел. Козловский вскочил и, дрожа от холода спросонья, стал торопливо укладывать гитару в мешок.

Прислушавшись, Акимов вышел из землянки.

- Смирно-о-о! - подал команду откуда-то из темноты лейтенант Венцов. - Товарищ капитан третьего ранга! - доложил он, и его голос, сильный и молодой, звучно и красиво до щегольства разнесся в темноте. Батальон выстроен по вашему приказанию.

Акимов приблизился к темному строю морских пехотинцев и прошел вдоль колонны. Знакомые глаза смотрели на него спокойно и уверенно. И, глядя на бойцов, Акимов сам приободрился и повеселел.

3

Со всех сторон батальон обступили синие сумерки. Туманное северное сияние спокойно висело над ним. Между скалами кричали птицы.

Холодный ветер, дувший в лицо, прогнал сонливость. Пронзительные крики птиц и вся непривычная обстановка вызвали в морях необъяснимую тревогу. В такие минуты полезно было посмотреть вперед, туда, где темнела массивная фигура комбата, который шел размашистым шагом, время от времени поворачивая к своим людям большое, чуть насмешливое, очень спокойное лицо. Иногда он что-то говорил, и тогда ближайšie к нему

люди улыбались, а задние, хотя и не слышали слов, улыбались тоже.

- Этот скажет, - одобрительно бормотал Егоров.

Согласно радиограмме, батальону надлежало поступить во временное распоряжение командира стрелковой дивизии, представители которой должны были встретить моряков на перекрестке дорог южнее Киркенеса, возле сохранившихся в целости домиков. Но здесь пока никого не оказалось, и Акимов в ожидании прибытия представителей велел располагаться по хижинам, выставив караулы. Потом он послал двух моряков поднять в ружье роту Миневича и привести ее сюда, а сам вместе с Мартыновым и Матюхиным постучался в первую попавшуюся хижину, возле которой на флагштоке развевался норвежский флаг.

Маленький домик был полон народу. Норвежцы - мужчины, женщины и дети - лежали на матрасах или сидели на стульях, а то и просто на полу, вдоль всех стен. Домик походил на постоянный двор. Из всех углов на Акимова смотрели детские глаза. Он остановился в замешательстве, решив было, что нечего усугублять и без того невыносимую тесноту. Но тут навстречу ему из-за стола поднялся высокий худой человек с небритыми щеками. Он взволнованно заморгал глазами. Потом заговорил. Детские глаза во всех углах комнаты засверкали, женские - заулыбались. Мужчины солидно захмыкали.

Акимову и его спутникам быстро очистили три стула возле длинного стола, на котором горели карбидные лампы. А хозяин все говорил, и хотя русские его не понимали и он это знал, но выражение его лица было столь красноречиво радушным, что и Акимов, и Мартынов, и Матюхин тоже улыбались, чувствуя себя довольно глупо, но хорошо.

Хозяин был рабочим на руднике - он очень хотел и никак не мог объяснить это русским, пока младшая дочь, умненькая Осе, не догадалась показать им фотографию отца в одежде рудокопа с киркой в руке. Когда русские поняли и в знак дружбы крепко пожали хозяину руку, он начал им что-то рассказывать, жестикулируя, и в отчаянии вращал глазами, видя, что они его не понимают. Они разобрали только слова "коммунист" и "тјускен" по-норвежски "немцы", - но и этого оказалось достаточно.

- Он коммунист, что ли, - неуверенно сказал Мартынов, показывая пальцем на хозяина.

- Я, я, я, - вскричала вся комната разом.

Нет, это не могло быть ложью ради снискания расположения русских офицеров. Никакого подобострастия, которое Акимов ощущал в словах и выражении лиц киркенесского бургомистра, Ульсена, Викколы, не было здесь и в помине.

Мартынов разволновался, пожалуй, не меньше норвежцев. Он вынул из кармана гимнастерки партийный билет, ткнул в грудь себя, потом Акимова и сказал:

- Вот. Коммунисты. Мы.

Хозяин осторожно взял в руки книжечку, показал ее жене, детям и всем остальным, потом вернул Мартынову и, когда тот спрятал ее, неожиданно обнял капитан-лейтенанта, обнял Акимова, затем нерешительно пошел к Матюхину, но, вдруг остановившись, спросил:

- Коммунист?

- Нет, - отрицательно мотнул головой смущенный Матюхин. Беспартийный.

Рудокоп удивился: он не предполагал, что в России имеются некоммунисты, но Акимов, засмеявшись, поощрительно толкнул его к Матюхину, и норвежец, тоже засмеявшись, обнял и вестового.

Молоденькая девушка - ее звали Ингри, о чем она, приседая, сообщила русским, - убежала в соседнюю комнату и вернулась с мучными лепешками, заменявшими хлеб и носившими название "кнекебрё". Матюхин подумал-подумал и достал из вещевого мешка заветную фляжку. Появились рюмки. Разлили всем понемножку. Все встали. Норвежцы, пристально глядя русским в глаза, сказали "скол", приложили рюмки к сердцу и стали неторопливо пить. Русские сказали "на здоровье" и выпили залпом.

А хозяин то улыбался, то говорил, время от времени сжимая руки на груди в отчаянии от того, что его не понимают. Он говорил о том, как трудно тут коммунистам, и о том, что хозяева завода "Сюд-Варангер" владеют всем краем, как вотчиной, а на заводе орудует желтейший профсоюз. И о том, что вот он, рудокоп, впустил к себе несколько семей погорельцев, и сделал он это потому, что он коммунист и обязан сочувствовать обездоленным, но далеко не все обладают чувством солидарности и многие погорельцы ютятся буквально на улице.

Мартынов внимательно слушал, качал головой, понимая по всему, что речь идет о чем-то очень важном, и сетуя на себя, что он не может понять ничего из сказанного. Он шепнул Акимову:

- Надо изучать норвежский язык, вот что я тебе скажу.

Кто-то из женщин завел патефон. Может быть, они собирались плясать, но в это время распахнулась дверь, и в дом торопливо вошел полковник в высокой папахе и кожаном реглане. Это был представитель стрелковой дивизии, которого ожидал Акимов. Половицы под его тяжелыми шагами заскрипели. Пораженный пестрым зрелищем и многолюдством, он огляделся, но ничего не сказал, подошел к Акимову и быстро бросил ему одно слово:

- Пошли.

У полковника были встревоженные глаза, и Акимов беспрекословно поднялся с места и пошел за ним к выходу. Но уже у самой двери он вдруг остановился как вкопанный. Мелодия только что поставленной пластинки показалась ему очень знакомой. Нет, не просто знакомой, а родной, полной интимнейших и радостнейших воспоминаний.

- "Танец Анитры" Грига, - произнес Акимов, и ему почудилось, что эти слова произнесены даже не его голосом, а голосом Анички, так ясно увидел он перед собой землянку, оплетенную ивовыми прутьями, и все то, что было связано для него с этой музыкой.

Норвежцы удивились и обрадовались, услышав от русского командира знакомые слова.

- Я, я, я! - восхищенно закричала вся комната разом.

- Минуточку, - сказал Акимов, обращаясь к полковнику и, несмотря на нетерпеливые взгляды его, не двинулся с места, пока не прослушал всю пластинку. Он не мог понять, почему родная мелодия попала в такие далекие края, и лишь когда музыка замерла, вспомнил, что автор ее - норвежец, уроженец этой страны и, вероятно, гордость этого народа.

Покинув наконец норвежский домик, Акимов вслед за полковником направился к зеленой штабной машине, стоявшей на перекрестке. Оба вынули карты.

- Положение сложное, - сказал полковник. - Немцы предприняли контратаку в районе селения Полмак, на реке Тана-эльв. Не исключена возможность серьезного контрудара. На западном берегу Таны замечено крупное скопление противника. Даю вам десять грузовых машин для переброски хотя бы части вашего батальона. Больше пока дать не могу. Остальные пусть идут пешим маршем. Выступайте немедленно.

Акимов сказал:

- Ясно. Все будет сделано. - Он помолчал, потом вдруг улыбнулся и добавил: - Знакомая музыка - это почти все равно что старого друга встретить.

- Что? Что вы сказали? - не понял полковник, занятый другими, вовсе не музыкальными мыслями. Но Акимов ничего не ответил и размашистым шагом пошел к своему батальону, который уже выстроился на дороге.

Первая рота погрузилась в подошедшие грузовые машины. Акимов вскочил на подножку передового грузовика и крикнул маленькому чумазому шоферу:

- Давай, жми быстрее.

Колонна тронулась.

- Зажигай фары, чего боишься, - сказал Акимов, усевшись рядом с шофером. - Так мы далеко не уедем, а надо быстрее. Там немец зашевелился.

Машины пошли быстрее по каменистой дороге среди скал. А в ушах Акимова все не переставала звучать та странная и изящная мелодия, даже не грустная, а зовущая, манящая и немного тревожная, и вместе с ней перед глазами проносились знакомые картины. Ему казалось теперь, что окружающая суровая природа стала мягче и милее. Птичий грай над скалами, синие сумерки - все это теперь очень нравилось ему, и ему на миг представилось, что войны уже нет, а сам он просто путешественник по незнакомым, интересным местам, о которых придется вскоре рассказать Аничке. Поэтому надо стараться ничего не забыть, все запомнить: пронзительный крик птиц, вьющуюся среди голых скал дорогу, благодарные лица норвежских мужчин и женщин, сияющие глаза норвежских детей, красные, разделенные на четыре поля синим крестом норвежские национальные флаги, развевающиеся теперь на всех здешних флагштоках в знак освобождения, - все, все.

Вскоре послышались взрывы снарядов. Зарево занимавшегося пожара показалось впереди. Оно освещало темные строения поселка и длинную полосу леса вдаль. По-видимому, то был тянувшийся вдоль реки Тана-эльв придолинный лес - за полосой деревьев угадывался край, обрыв, змеящийся соответственно речному руслу.

На скале слева от дороги стояли люди. Они смотрели на запад в бинокли. У подножия скалы связисты тянули катушки с проводом.

Остановив колонну, Акимов спрыгнул с машины, поднялся на скалу и спросил у стоявших там темной кучкой офицеров:

- Ну, что там? Я - Акимов, прибыл с морской пехотой.

Все оглянулись на него и заметно обрадовались. Кто-то, видимо старший здесь, показал на пожар:

- Вот ваше направление, товарищ Акимов. Мы вам придаем минометную роту. - Он крикнул: - Минометчиков сюда!

Лейтенант-минометчик подошел к Акимову и, приложив руку к шапке; доложил:

- Прибыл в ваше распоряжение.

Потолковав с офицерами, Акимов спустился со скалы и крикнул:

- Долой с машин!

Машины мигом опустели. Моряки быстро построились и пошли вслед за комбатом. Акимов

шел впереди вместе с Козловским и лейтенантом-минометчиком. Покосившись на минометчика, он проговорил:

- Минометам без моей команды не стрелять. Нечего зря дома разбивать.

Поблизости разорвалось несколько снарядов. Немцы, очевидно, били с западного берега реки.

Акимов повернулся к Козловскому:

- Развертывай людей в цепь. Пошли.

Моряки полезли через скалы. Их фигуры были ясно видны на фоне светлого неба.

- Как твоя фамилия? - спросил Акимов у лейтенанта-минометчика.

- Селиверстов, товарищ майор.

- Так вот, Селиверстов, пока не стреляй. Будь со мной. Дело, видишь ли, в том, что нужно немцев из селения выгнать, не дать им возможности взорвать дома. А если тебя пустить в ход, то ты сделаешь то же самое, хотя и с благородной целью. Так что не сердись.

- Я не сержусь! - сказал Селиверстов сконфуженно.

Они медленно пошли вперед. Прибежавший связной доложил, что немцы медленно отходят, поджигая дома. Жители бегут в лес. На реке находится довольно большая флотилия моторных баркасов. Артиллерия бьет с западного берега.

- Атаковать! - крикнул Акимов. - Что вы там копаетесь? Ждете, чтобы они все сделали и убежали?

Со скалы, куда Акимов взобрался, ему был виден заросший лесом противоположный берег, на котором то тут, то там вспыхивали оружейные выстрелы.

- Я вам покажу Бадейкина, - бормотал он. - Я вам покажу поджигать...

Стремительно спустившись со скалы, Акимов пошел к лесу и вскоре достиг первых деревьев. Здесь было темно. Между стволами Акимов увидел блестящую ленту реки. Деревья спускались отлого к самому берегу. Левее, в излучине реки, виднелись на воде небольшие суда, - видимо, норвежские, согнанные со всей Таны.

- Вперед, моряки! - крикнул Акимов.

Пулеметы, автоматы и винтовки застрекотали по всему берегу. Послышалось "ура".

- Селиверстов, - сказал Акимов. - Вот и твоя очередь. Дай по этим суденышкам разок.

Селиверстов сказал несколько слов сопровождавшим его солдатам и поднял к глазам бинокль. Среди деревьев зашуршали пули. Затарахтели лодочные моторы. В небо взлетели красивые разноцветные ракеты.

Акимов пошел вниз, к реке, то и дело не без удовольствия прикасаясь к шершавым стволам сосен.

- Это ты, Туляков? - спросил он у человека, сидевшего за пулеметом.

- Я, товарищ комбат.

- Так их, так. Отчаливают, сволочи. Чего же это Селиверстов там молчит? А речка ничего, красивая... Пороги. И не замерзает, горная. Двигайтесь влево вдоль берега.

Бойцы медленно шли вдоль берега влево, к селению. Наконец заработали наши минометы. Немецкие суда разметало по всей реке. Все кругом загудело и задрожало. Пули зловеще свистели среди сосен.

- Товарищ комбат, товарищ комбат! Где комбат?

- Только что был здесь.

- Товарищ комбат!

Никто не ответил. Ватюхин тыкался среди деревьев, ища Акимова.

- Туляков, а Туляков! - наклонился над пулеметчиком Матюхин. - Тебя спрашивают.

- Чего?

- Где комбат?

- Да вот же он, - сказал Туляков, повернул голову от пулемета и растерянно замигал: комбата не было.

Матюхин увидел комбата лежащим у самой воды. Одна рука Акимова большая, загорелая - опустилась в воду, и в этом месте образовался маленький четырехструйный водопад.

- А-а-а!.. - закричал Матюхин по-бабьи.

Несмотря на гул пушек и минометов, на плеск воды, на вопли немцев, этот крик услышали все. Подбежали люди, подошли справа матросы Венцова, слева - Мартынов, Козловский. Акимова подняли и понесли в селение. Кто-то попытался увести Матюхина, но он торопливо говорил:

- Вы меня не трогайте. Оставьте меня. Я не хочу жить.

Акимов еще слышал крик Матюхина, но ему казалось, что это шум воды, бьющейся о пороги, крик ночной птицы и вообще нечто, исходящее не от человека, а от природы. Потом, когда его несли, он на мгновение пришел в себя и решил, что возле него дежурят Мартынов, Матюхин и еще кто-то уже много ночей подряд, и он захотел сказать им, что хватит, пусть они идут спать, ведь они хотят спать. Ему показалось, что он это им сказал, и они исчезли, провалились куда-то, а теперь он хочет пить, и некому подать ему пить, так как он велел всем уйти от его койки. Ему чудилось, что он лежит на корабельной койке, и она раскачивается все больше и больше, и он ударяется каждый раз голым сердцем о что-то острое и одновременно тупое. И вот качка стала невыносимо сильной, так что боль все больше увеличивалась, так что нельзя было терпеть, потому что сердце с налета билось все о то же самое, острое и тупое. И он подумал, что так нельзя, что это надо прекратить, нельзя так терзать сердце, потому что оно - не его собственное: может быть, он в этот миг думал об Аничке; хотя он уже не мог вспомнить ни ее имени, ни ее лица, ни даже того, что она такое, но в его мозгу дрожало радостное и светящееся пятно, включавшее в себя и ее и все, что он любил в жизни, и именно этому радостному и светящемуся принадлежало его сердце, содрогавшееся от боли и борьбы.

Он затрепетал и затих.

- Конец, - сказал Мартынов и рванул на груди ворот, как это делали матросы перед атакой.

Комбата несли все так же бережно, как живого, потому что невозможно было поверить, что это большое, сильное тело, это отважное, беспокойное сердце, только что жившие такой полной жизнью, не существуют больше. И странно было смотреть, что он лежит неподвижно, как будто уже накрепко привык и к э т о м у новому состоянию, уже освоился и на э т о й новой позиции. Следом за ним несли еще двух убитых - молодых матросов Иванова и Горюшкина, смерть которых тоже вызовет боль и отчаяние у людей, знавших их при жизни так, как друзья знали Акимова.

Возле лопарского стойбища, среди бедных чумов, построенных из жердей и покрытых оленьими шкурами, Мартынов приказал сделать привал. Вскоре начался сильный снегопад. Лопари запрягли оленей в нарты, убитых положили на нарты. Олени поводили большими рогами и чутко прядали ушами. Лопари шли рядом - низкорослые, испуганные. От них шел застарелый рыбный запах. Их головной убор состоял из разноцветного, похожего на шутовской, колпака с острыми концами.

Неведомо откуда появился отряд разведчиков. Шедший впереди Летягин подошел и спросил, где капитан третьего ранга Акимов. Ему молча показали на нарты. Красный рубец на его лбу побелел.

Когда двинулись дальше, Летягин пошел рядом с нартами, хотя ему было неудобно так идти, он то и дело проваливался в снег, но упрямо шел рядом ему казалось необходимым и важным смотреть на укрытое плащ-палаткой лицо Акимова.

В Киркенесе Акимова ждал приехавший сюда Ковалевский. Яблоки в ящике прекрасно сохранились - то были крепкие антоновские яблоки. Он их наконец разыскал и привез. Ему сказали о случившемся, он обмяк, заплакал и, плача, поехал обратно в Печенгу, в Краснознаменную часть морской авиации, о которой нужно было написать очерк.

Норвежские власти выделили место для кладбища у подножия плоскогорья Хейбуктмуэн, или, как оно называлось на наших картах, Хебуктен. На этом месте и раньше хоронили русских людей, угнанных в Норвегию и замученных здесь немецкими фашистами. Сюда привезли всех убитых за последние дни солдат и офицеров частей и кораблей, получивших наименование "Киркенесских".

Норвежцы приспустили свои флаги. Одевшись в черное платье, они на лыжах и просто пешком по свежавыпавшему снегу пошли к новому кладбищу. Туда же двигались строем советские солдаты и моряки.

Летягин шел рядом с Мартыновым. Оба молчали. Вскоре пришли на место. Отрывистые слова команд по-особенному глухо и печально отдавались среди скал. Снегопад все усиливался.

Летягин смотрел на неподвижные лица солдат и думал о том, что пребывание любой чужой армии на какой-либо территории, хотя бы союзной, обременительно для местного населения, но никогда никакая армия не старалась быть менее обременительной, чем наша, не стремилась к большему самоограничению, чем наша, не показывала такого примера бескорыстия и дружелюбия.

Под светлой тяжестью этих мыслей Летягин решился наконец посмотреть в лицо Акимову. Лицо моряка было спокойно и прекрасно. И Летягину вдруг подумалось, что вот сейчас Акимов откроет глаза и что-то скажет. Что он скажет? Своим раскатистым глубоким голосом он, наверно, лукаво усмехаясь, проговорит:

- Ну, хватит жилы тянуть. Хоронить так хоронить.

От этой глупой мысли Летягин почувствовал, что сейчас заплачет. Он сжал губы и покосился



на Мартынова. Замполит стоял белый, как бумага.

Раздался залп прощального салюта. Женщины заплакали, запричитали, как все женщины на свете у могил, какой-то старый рыбак крикнул по-норвежски: "Мы вас не забудем!"; какие-то три очень похожие друг на друга девушки зарыдали, все было кончено.

Когда все разошлись, Летягин и Мартынов еще постояли с полчаса у могилы Акимова, возле деревянного обелиска с красной звездой.

Летягин сказал:

- Надо было перевезти его к нам, туда. В родной земле все-таки лучше. - Подумав, он возразил себе самому: - Ничего. Норвеги - люди хорошие. Будут ухаживать. Следить. Очищать от снега.

Белый туман распространился над Варангер-фьордом. Снег все валил и валил густыми хлопьями, падая на море и на берег, и казалось, что он способен забить, замести и море, и скалы, и это плоскогорье. Но волны поглощали его, а ветер сдувал снежную пелену со скалистых вершин, и только в болотных низинах она оставалась лежать нетронутая, глубокая и бесстрастная.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### Жизнь мертвых

1

После окончания в 1949 году Второго московского медицинского института врач Анна Александровна Белозерова со своей дочерью поселилась в городе Туле. Она работала в больнице. Там ей были очень рады, кроме всего прочего, и по той причине, что к ней каждое воскресенье приезжал на машине ее отец, профессор Белозеров. Его приезды беззастенчиво эксплуатировались больницей, и он, посмеиваясь, соглашался на это, консультировал, а иногда делал особо сложные операции.

Александр Модестович примирился со всем, что произошло у Анички, уже давно. Пораздумав, он понял, что, если бы ему рассказали эту же историю, но случившуюся с другими людьми, он несомненно обвинил бы отца в бессердечии и тупости. С течением времени он все больше ужасался своей жестокости и, смирившись, признался себе, что вовсе не является еще образцом разумного и нравственного человека, каким он не без самодовольства иногда считал себя.

Обо всем этом он откровенно написал Аничке еще осенью 1944 года, а вернувшись после войны с фронта, старался как мог загладить свою вину. Внучку он очень полюбил.

Встретив однажды генерала Верстовского (он уже был генералом) и узнав, что тот работает в Отделе внешних сношений Министерства Вооруженных сил, профессор попросил его навести справки о могиле мужа Анички в Норвегии.

- Его зовут Акимов, Павел Гордеевич, был он капитаном третьего ранга. Похоронен... Подожди, я сейчас погляжу. Хейбуктмуэн, близ Киркенеса.

Верстовский записал себе в блокнот все это, потом вдруг встрепенулся:

- Как его фамилия? Акимов? Подожди, неужели это тот самый комбат? Большой, упрямый, веселый человек? Бывший моряк?

- Ты знал его?

- Еще бы! Правильно, Аничка служила с ним в одном полку. Так он, значит, погиб? Какая жалость! Отличный, отличный офицер.

Александр Модестович не привык, чтобы Семен Фомич кем-либо так восторгался, и был растроган и польщен добрым мнением Верстовского о человеке, который некогда представлялся профессору виновником Аничкина несчастья.

Верстовский обещал навести справки. Вскоре он позвонил по телефону и договорился о встрече.

- Да, это тот самый знакомый мне превосходный командир. Оказывается, он был отозван обратно во флот. Я даже припоминаю - разговор об этом был при мне, там же, под Оршей. Моряки-северяне хорошо помнят его. Он вообще принадлежит к категории людей, которых нелегко забыть. Об обстоятельствах его смерти может очень точно рассказать некто капитан-лейтенант Летягин из Главного морского штаба. О могиле Акимова я запросил нашего военного атташе в Норвегии. Я сказал ему, что Акимов - твой и мой родственник, муж Анички. Он обещал мне все разузнать.

Анне Александровне исполнилось двадцать восемь лет, и ее красота находилась в ту пору в полном расцвете. Она проявила себя талантливым врачом. Она была равна и проста в обращении. Сослуживцы и больные любили ее.

По просьбе отца ее вскоре перевели в Москву, в одну из столичных клиник. Тут она сделала успехи, которые, будь они достигнуты другим врачом, оценивались бы еще выше. Однако, так как она была дочерью Белозерова, ее умение и способности приписывали его руководству и некой наследственности, как будто можно передать по наследству призвание и тончайшее чутье.

Но ей это было все равно, она уже чувствовала свою начинающуюся профессиональную зрелость, уже ощущала в себе зачатки той мощи, которой удивлялась при операциях отца и других выдающихся хирургов.

Казалось, она жила тихо и безбурно, отдавая все силы своему делу и дочери Кате. Трудно было на ее безмятежном лице прочесть то отчаяние, которое владело ею раньше и иногда охватывало ее и сейчас.

Года два она жила в состоянии непрерывного и беспросветного горя. Она отлично училась, но все ее учение шло своим чередом, как бы помимо ее существа. Ей казалось, что она находится на гребне волны, которая без усилий с ее стороны держит ее и несет вперед. Эту волну можно было назвать долгом, обязанностью, любовью к родине, материнской любовью и другими словами, - как бы то ни было, эта волна не давала тонуть Аничке.

Но что бы Аничка ни делала, она спрашивала себя беспрестанно: "Как могу я читать книгу, когда его нет? Как могу я пить воду, когда его нет? Как могу я надевать перчатки, когда его нет?"

И все-таки она читала книгу, пила воду, надевала перчатки, подобно тому как это делала тетя Надя, сын которой так и не вернулся с войны.

Это иногда приводило Аничку в ярость, она казалась себе жалким животным, гнусно цепляющимся за жизнь. Она не хотела жить, потому что умер Акимов, и считала, что настоящий человек не должен при этих обстоятельствах жить. Однако она жила и делала все, что требовалось, для себя, для Катеньки, для отца и для общества, среди которого существовала.

Она стала читать все о Норвегии, потом даже изучила норвежский язык, который дался ей легко, так как был схож с немецким. И, читая об этом трудолюбивом, честном, малочисленном народе, она находила утешение в том, что он, этот народ, трудолюбив, честен и малочислен, словно в этом могло быть оправдание смерти Акимова.

2

Однажды она решила поехать в Ковров, к родителям Павла. Это было летом 1946 года, во время каникул. Вечером она села в поезд и утром была уже на месте. Она прошла по Абельмановской улице, потом по Базарной, миновала старинные каменные ряды, набережную, перешла через мост и очутилась в Заречной Слободке. Тут стояли одноэтажные рубленые домики, потонувшие в зелени садов.

Она без труда нашла нужный ей домик, похожий как две капли воды на все остальные. На скамеечке сидела старушка. Это была мать Акимова. Аничка сразу узнала ее по неувловимому сходству с сыном. Было странно, что такая маленькая, чистенькая, светящаяся добротой старушка приходилась матерью огромному Павлу Акимову. И еще было странно: как может она сидеть на скамейке, когда его нет.

- Здравствуйте, Мария Капитоновна, - сказала Аничка. - Это я, Аня Белозерова. Я вам писала.

Старушка порывисто обняла Аничку и молча повела ее в дом.

- Чего же ты внуку не привезла? - спросила Мария Капитоновна, вскоре овладев собой. - Али привезла?

- Нет, не привезла, - сказала Аничка. - В другой раз привезу.

- Так вот ты какая, - прошептала Мария Капитоновна, глядя на Аничку пристально и печально.

Соседи прослышали о приезжей, и дверь начала отворяться, впуская все новых любопытствующих взглянуть на вдову Павла Акимова. Это были пожилые ткачи и ткачихи, а с ними дети. Все чинно здоровались с Аничкой. Они знали, что она дочь знаменитого врача, генерала, но не это вызывало их любопытство: некоторые из них сами были родителями генералов, парработников, директоров и других крупных людей. Нет, они просто близко знали и любили Пашу Акимова, он был в свое время самым сильным и самым добрым мальчиком в Заречной Слободке, потом известным ударником и активистом. Были здесь и такие старики, которые некогда прочили своих дочек за него, и всем было интересно посмотреть, кого же выбрал Паша, парень привередливый по этой части, себе в жены. Посидев и попив чаю с вишневым вареньем, они разошлись, решив, что выбрал он хорошо.

Потом вернулась с работы младшая, еще незамужняя сестра Акимова, Варя. Она была учительницей и преподавала в младших классах той самой школы No 1 - бывшей гимназии, - где учился в свое время Павел. Она была так похожа на Павла, что Аничка вздрогнула, увидев ее, и крепко обняла Варю. А Варя заплакала.

Наконец пришел с ткацкой фабрики старый мастер Гордей Петрович Акимов - большой, насмешливый, с петушиной, задиристой правой бровью, стоявшей торчком. Он вошел, поздоровался и, не подозревая, кто эта молодая женщина, сидевшая рядом с Варей, сказал:

- А вот и мы... Здравствуйте, молодежь. А это что ж за красавица? Мы таких в Коврове что-то не видывали.

Ответное молчание заставило его насторожиться, он увидел на столе возле самовара

фотографии сына, и тогда его большое лицо вдруг потеряло выражение насмешливости и болезненно перекопилось.

- Такие дела, - сказал старик. Потом спросил: - А внучка как?

- Здорова, - сказала Аничка. - Привезу ее к вам в другой раз.

На следующий день Аничка осматривала город. Варя и старик Акимов показали ей большой экскаваторный завод, тот самый, где Павел когда-то работал. Гордей Петрович рассказал ей все, что помнил об этом заводе. Он еще помнил, как завод был мастерской, где все делалось вручную, при свете керосиновых ламп. В кузнице стоял тогда такой дым, что люди задыхались. Когда становилось совсем невозможно, кузнец выбегал, падал в снег и, полежав там, шел обратно работать.

Теперь здесь возвышались большие светлые здания, и во дворе Аничка увидела новые экскаваторы "Ковровец", крашенные в красную, вроде трамвайной, краску.

Старик показал ей Ширину гору - место сходов и демонстраций. Здесь же происходили в старину кулачные бои.

Это был город металлистов и ткачей, один из тех многочисленных русских рабочих городов, которые не жалели своей крови и сил для дела революции и социализма. Когда в Москве вспыхнул мятеж левых эсеров, Ковров выслал на помощь московским рабочим солдат 250-го пехотного полка и местных большевиков во главе с председателем Совета и секретарем уездного комитета партии Абельманом. При подавлении мятежа Абельман был убит, в его честь в Москве названа застава. Большевики и рабочие Коврова посылали людей для разгрома муромского белогвардейского восстания и ликвидировали кулацкие мятежи в Ключниковской и Бельковской волостях. Потом они упорно и основательно работали для восстановления своих фабрик и заводов, в 1931 году построили первый экскаватор, а через два года наладили серийное производство.

- А в Отечественную войну ковровцы... - Старик замолчал, потом добавил глухим голосом: - Отдали все, что могли.

3

На этом можно и закончить повесть о Павле Акимове и перейти к другим повестям о людях более позднего времени, об их радостях и печалях. Так и хочется поставить слово "конец" и, сдержав слезы расставания с Акимовым, задуматься на мгновение и отложить в сторону перо.

Но это невозможно.

В августе 1951 года люди с ломami, лопатами, взрывчаткой, грейдерными машинами пришли на русские воинские кладбища в Норвегии и стали взрывать могилы, вытаскивать и бросать в угольные ямы останки солдат, которые, будь они живы, обратили бы в бегство миллион этих гробкопателей. Они стали разравнивать землю кладбищ тяжелыми катками, они разметали и раздавили цветы, положенные сюда жителями этих мест.

Среди других кладбищ они взорвали и кладбище в норвежской провинции Финмарк, где лежало тело Акимова, и рядом, на плоскогорье, начали строить аэродром для бомбардировщиков, предназначенных бомбить города той державы, которая первая послала своих солдат для освобождения Норвегии и первая же вывела свои войска из Норвегии освобожденной.

Люди, живущие чужим трудом по обе стороны Атлантического океана, начали готовить войну

против народов, но память человечества о событиях недавнего прошлого тревожила их. И они решили искоренить эту память. Мертвые мешали им, и они решили еще раз убить мертвых.

Известия об этих событиях еще не стали предметом широкой гласности, они медленно проходили через разные дипломатические и иные канцелярии, еще проверялись и уточнялись, ибо невозможно было сразу поверить в реальность такого неслыханного дела.

Генералу Верстовскому об этом рассказал прилетевший из Норвегии военный атташе. Сообщение потрясло генерала и ужаснуло его. И еще больше он ужаснулся именно по той причине, что знал, кто лежит в той могиле. Ведь все-таки очень важно было то обстоятельство, что там лежал Акимов.

Верстовский приехал к профессору Белозерову, заперся с ним в его кабинете и рассказал все, что знал. Александр Модестович был бледен и удручен. Стемнело, и они сидели в нерешительности, не зная, что делать и сообщать ли обо всем Аничке. За стеной был слышен смех ребенка и негромкий разговор.

- Все равно она узнает, - сказал Верстовский. - Это не может долго оставаться неизвестным.

- Так что делать? Сказать? - проговорил Александр Модестович.

- Ей бы замуж выйти, - сказал Верстовский, помолчав.

- Не желает.

Совсем стемнело. В дверь постучалась Аничка, тихо спросив:

- Папа, ты спишь?

Оба генерала трусливо промолчали, ничего не ответили, и она ушла к себе.

- Мертвые - и те им мешают, - хмуро сказал Верстовский.

А профессор Белозеров, поглаживая свои седые усы, с недоумением и тоской думал о том, что происходит на свете. Он становился все мрачней и суровей. Но нет, можно остановить все часы на земном шаре, а время все равно будет идти вперед; и разрушение братской могилы на дальней северной окраине Европы - это тоже не более как остановка всего лишь только маленьких, тихо тикающих в полярной ночи часиков со смехотворной целью остановить время.

- Надо ей сказать, - проговорил наконец Александр Модестович и позвал Аничку.

Выслушав Верстовского, Аничка осталась сидеть неподвижно. Удивление, ужас, скорбь и неверие в людей овладели ею. В эти мгновения, длившиеся, казалось ей, века, она с ужасом спрашивала у Акимова: "Зачем же ты пошел туда, за что умер? Кому понес ты чистоту помыслов, свое мужество и свою любовь?"

К счастью, состояние это длилось недолго. Ведь следовало понять, что тяжкое оскорбление брошено в лицо не только ей, но всем людям, и важно было не спутать светлый лик человечества с искаженной харей всемирного стяжателя и мещанина. Аничка сумела это понять. Она овладела собой и почти спокойным голосом сказала, что, по-видимому, мертвый Акимов так же страшен врагам, как он был им страшен живой. И что ему суждена неповторимая судьба: будучи мертвым, жить.

Пожелав спокойной ночи отцу и генералу Верстовскому, Аничка пошла к себе.

На следующий день, первого сентября, Екатерина Павловна Акимова, семи лет от роду, должна была впервые пойти в школу, и Аничка стала разглаживать утюгом ее белый фартук. Брызгать водой на фартук на этот раз не пришлось - он был и так в изобилии смочен крупными, как дождевые капли, материнскими слезами.

1952